

## БИБЛИОГРАФИЯ

< ИЗ № 1 «СОВРЕМЕННОКА» >

**Шиллер в переводе русских поэтов. Лирические стихотворения Шиллера в переводах русских поэтов, изданные под редакциею Н. В. Гербеля. Часть первая. Спб. 1856<sup>1</sup>**

Когда идет речь об исторических науках, о том, что настоящее состояние их еще очень неудовлетворительно, все мы начинаем говорить, что материалы еще мало разработаны, но хорошо было б, если б дело ограничивалось только необходимостью подвергнуть материалы исторических наук более внимательной, полной и точной разработке. Нет, не в этом одном состоит дело: самая идея каждой отрасли исторических наук понимается еще слишком узко; нужно не только разработать материалы, нужно расширить границы содержания науки, о какой бы отрасли исторических наук ни должна была идти речь. Возьмем в пример хотя историю литературы. Не будем говорить о том, что до сих пор, вместо истории литературной мысли в обществе, нам дается обыкновенно только обзор произведений, замечательных в художественном отношении; вместо того, чтобы говорить об обществе, о нации, говорится только об исключительных явлениях, каковы гениальные или, вообще, знаменитые поэты, — то есть делается то же самое, как если бы география, вместо описания страны, в котором равнины, болота, степи, луга занимают гораздо более места, нежели картины горных хребтов, давала нам только описания вершин Монблана, Сен-Готарда и Мон-Сени. Нет, нам нужно знать и такие книги, которые доставляли умственную пищу массе, и Федот Кузмичов скажет нам, какова была умственная жизнь той бесчисленной массы, которая не знала и не требовала другой пищи, кроме его произведений.

Но оставим в стороне это требование, к принятию которого слишком мало еще приготовлены понятия современных исследователей. Положим даже, что история литературы должна говорить нам только о писателях замечательных в художественном

отношении, пренебрегая, как пренебрегает теперь, книгами, доставляющими чтение огромнейшему числу грамотного населения. И с этою уступкою все-таки мы не дошли еще до того, чтобы находить удовлетворительно широкими нынешние границы истории литературы. Теперь она почти исключительно занимается только оригинальною литературою, не обращая почти никакого внимания на переводную. Это было бы совершенно справедливо, если бы история литературы должна была представлять не рассказ о развитии литературных понятий народа, а простой список людей известной нации, прославившихся в литературе. Правда, переводчики редко приобретают знаменитость, а часто и вовсе не бывают литераторами в настоящем смысле слова, — но что ж из того? Никто и не просит историю литературы говорить о переводчиках — пусть она говорит о переведенных произведениях, — ведь наука имеет предметом факты, и какой бы стране, какому бы народу ни принадлежал человек, от которого ведет начало литературный факт, о факте все-таки должна говорить история того народа, на жизни или понятиях которого отразился этот факт. Ведь пароходы американское изобретение, а говорит же о них английская статистика, потому что они перешли и в английскую жизнь; паровозы английское изобретение, а говорит же о них французская статистика. Так и Байрон, если только переводы его произведений имели, положим, на французскую публику не менее влияния, нежели, например, произведения Шатобриана или Ламартина, должен занимать собою историю французской литературы не менее, нежели Ламартин или Шатобриан. Мы говорим не о произведениях французских подражателей или последователей Байрона, — нет, о самых произведениях Байрона во французском переводе.

Вообще надобно принять за правило, что если история литературы должна рассказывать о развитии общества, то ей следует обращать одинаковое внимание на факты, имевшие одинаково важное значение для этого развития, какой бы нации, какой бы литературе ни принадлежало первоначальное появление этих фактов.

Переводная литература у каждого из новых европейских народов имела очень важное участие в развитии народного самосознания или (чтобы говорить определительнее, заменим другим выражением эту обиходную фразу, слишком часто ведущую к недоразумениям) в развитии просвещения и эстетического вкуса. Потому историко-литературные сочинения только тогда не будут страдать очень невыгодною односторонностью, когда станут на переводную литературу обращать гораздо больше внимания, нежели как это обыкновенно делается теперь.

Есть некоторое извинение для такой односторонности, когда дело идет об истории литератур, очень развитых, богатых силами, литератур, в которых иноземные влияния тотчас выра-

жаются подражаниями, по своему относительному достоинству занимающими в литературе, принимающей влияние, такое же место, какое принадлежит оригиналам этих подражаний в литературе, от которой исходит влияние.

У нас до сих пор было не так. Участие иностранных литератур в развитии нашего эстетического вкуса производилось преимущественно чистыми переводами. Исключение разве за одним байроновским направлением, которое отчасти в Пушкине, отчасти в Лермонтове имело у нас достойных представителей, — между тем как самого Байрона мы знали очень мало. Можно прибавить еще, что начавшееся от Вальтера Скотта направление имело у нас также представителей, заслуживших любовь публики, — но, тем не менее, романы самого Вальтера Скотта были у нас распространены гораздо более, нежели достойные внимания оригинальные романы того же рода. Об остальных иноземных писателях надобно решительно сказать, что если они действовали на нас, то исключительно прямым, а не косвенным образом, — действовали только переводами, решительно не имея у нас достойных последователей. Монтеस्कьё, Вольтер, Руссо, Шиллер, Гете, Диккенс — все эти писатели имели, или имеют, участие в нашей умственной жизни исключительно через переводы.

Огромную важность имеет у нас переводная литература. До самого Пушкина она была несравненно важнее оригинальной. Да и теперь еще не так легко решить, взяла ли над нею верх оригинальная литература. Как ни высоко ценим мы значение Гоголя, но мы колеблемся, можно ли сказать положительным образом, чтобы иностранные писатели имели на развитие литературной мысли в русском обществе менее влияния, нежели творец «Ревизора» и «Мертвых душ». Гоголь кровный, родной нам, его содержание ближе к нам, — прелесть его рассказа непосредственнее чувствуется нами, — все это так, мы любим его живее и сильнее. Но содержание чужих гениальных писателей, — что делать, надобно сознаться, — шире; художественная форма их произведений, — и в этом надобно сознаться, — совершеннее; они стоят дальше от нас, но фигуры их колоссальнее; мы не с такою кровною любовью подчиняемся их мысли, но если на стороне Гоголя наше субъективное сочувствие, то на стороне их превосходство объективного величия и совершенства, — и на чьей стороне перевес влияния, трудно решить<sup>2</sup>.

Если таково отношение оригинальной и переводной литературы теперь, после Гоголя, когда оригинальная литература получила развитие несравненно высшее и сильнее, сравнительно с прежним, то до Гоголя, и особенно до Пушкина, когда оригинальная наша литература была еще очень слаба, переводная литература имела над нею решительный перевес. Если взглянуть в дело беспристрастно, то, кажется нам, едва ли можно

не притти к заключению, что до Пушкина, в истории нашей литературы, переводная часть почти одна только имеет право считаться истинною питательницею русской мысли<sup>3</sup>.

При случае мы подтвердим это мнение подробным разбором фактов, а теперь укажем пока на один пример, представляемый книгою, заглавие которой мы выписали. Поэзия Шиллера как будто родная нам, а между тем у нас не было ни одного замечательного оригинального поэта в этом роде. Произведения Шиллера были переводимы у нас<sup>4</sup> — и этого довольно, чтобы мы считали Шиллера своим поэтом, участником в умственном развитии нашем. Чувство справедливой благодарности понуждает нас признаться, что этому немцу наше общество обязано более, нежели кому бы то ни было из наших лирических поэтов, кроме Пушкина.

Благодаря переводам Жуковского, он стал наш поэт. Но Жуковский перевел только меньшую половину его стихотворений. Другая, гораздо большая половина усвоенных нашему языку его стихотворений до сих пор почти совершенно погибала для русской публики, потому что эти пьесы были рассеяны по старым журналам и сборникам стихотворений разных наших поэтов, большею частью мало распространенных в публике.

Г. Гербель решился собрать эти переводы и, дополнив массу их новыми переводами тех стихотворений, которые или не были переведены, или не были удовлетворительно переведены на русский язык, издать полное собрание лирических стихотворений Шиллера в русском переводе.

Мысль эта прекрасна. Жаль только, что, из нескольких переводов одной пьесы выбирая лучшие, г. Гербель часто ошибается в выборе и, отбрасывая лучший, печатает менее удовлетворительные, — но это не более, как ошибка, а «ошибка в фальшь не ставится»; притом же он дает полный список всех переводов, обозначая, где помещен каждый из них, — стало быть, сам дает средство исправлять ошибки своего выбора. Правда, в обозрении переводов Шиллера на русский язык он положительным образом хвалит переводы г. Гр. Данилевского, г. Алексева, не удостоивая (на той же странице) этой чести переводы Козлова, Губера, г. К. Аксакова, г-жи Павловой, г. А. Григорьева, г. Яхонтова, которые бесспорно во сто раз лучше переводов г. Гр. Данилевского, г. Лялина и проч., но это опять ошибка, не более. Но зато г. Гербель обнаружил при составлении своего сборника много трудолюбия; отыскивая повсюду переводы пьес Шиллера, он пересмотрел почти все наши журналы, альманахи и собрания стихотворений с 1800 года, — что, по его словам, составляет 9 000 томов — работа обширная, и в этом отношении нельзя не отдать полной справедливости г. Гербелю.

Он много трудился, и потому, несмотря на довольно частые его ошибки при оценке достоинства различных переводов, в его

издании все-таки собрано очень много хороших переводов, которые погибли бы в старых журналах и книжках стихотворений посредственных поэтов, если бы г. Гербель не собрал этих пьес. Мало того. Многие пьесы Шиллера переведены, — и часто переведены хорошо, — собственно для его сборника, различными поэтами; многие другие переводы, уже сделанные прежде, но до сих пор остававшиеся ненапечатанными, напечатаны у него в первый раз. Из числа последних г. Гербель справедливо указывает на прекрасный перевод «Песни о колоколе» г. Мина, «который один есть уже приобретение для литературы».

Таким образом, несмотря на сделанное нами замечание, «Сборник», изданный г. Гербелем, достоин всякого внимания.

У нас привыкли нераздельно соединять Шиллера с Жуковским, и те, которые находят, что время поэзии Жуковского прошло, часто воображают, что точно так же прошло и время поэзии Шиллера. Это совершенно несправедливо. Жуковский прекрасно перевел многие из лучших стихотворений Шиллера, познакомил с этим поэтом русскую публику, но, с тем вместе, он переводил много из второстепенных английских и немецких поэтов, произведения которых ныне, конечно, кажутся устарелыми по своему содержанию; особенно забавны теперь баллады Соути, в которых, кроме ведьм, чертей и колдовства, нет ничего. Рядом с этими переводами помещены собственные произведения Жуковского, которые ныне, после Пушкина, Лермонтова, Кольцова и других новейших поэтов, конечно, утратили большую часть своей прежней цены. Таким образом, стихотворения Шиллера, в собрании стихотворений Жуковского, как будто несут на себе ответственность за остальные произведения, среди которых рассеяны.

Но Шиллера не должно смешивать ни с кем. Его поэзия никогда не умрет, — это не какой-нибудь Соути или Гербель. Люди, гордящиеся своею мнимою положительностью, между тем как имеют только сухость сердца, — своим знанием жизни, между тем как приобрели только знание мелочных интриг, говорят иногда о Шиллере свысока, как об идеалисте, мечтателе, — иногда решаются даже намекать, что у него больше было сентиментальности, нежели таланта. Все это, может быть, справедливо относительно иных поэтов, которых считают у нас сходными, по направлению, с Шиллером, но не относительно Шиллера. Характер своей поэзии он сам объяснил нам в «Письмах об эстетическом воспитании человеческого рода», излагая свои понятия о существенном значении поэзии вообще. Это сочинение написано в 1795 году, в эпоху французских войн, от результата которых зависела не только политическая самостоятельность или подчиненность Германии, но также решение вопросов внутреннего быта немецких племен. [В наше время, говорит Шиллер, человек чувствует более влечения рассуждать о государственных

и общественных вопросах, нежели об эстетических воззрениях. Я чувствую сам это влечение, продолжает он, и если, наперекор ему, пишу эстетическое исследование, то не по наклонности к этому предмету, а потому, что это, в сущности, полезно. Именно Шиллер хочет доказать, что путь к разрешению политических вопросов — эстетическая деятельность.] По его мнению, необходимо нравственное возрождение человека для того, чтобы изменить к лучшему существующие отношения: устройство их может быть усовершенствовано только тогда, когда облагородится человеческое сердце. Средством такого возрождения должна быть эстетическая деятельность. Она должна давать благородное и твердое настроение умственной жизни. Суровые принципы душевного благородства пугают людей, когда излагаются строгою наукою. Искусство незаметно внушает человеку понятия, достоинство которых не хочет он оценить, когда они являются ему без поэтической одежды. Своими идеалами приводит поэзия лучшую действительность: внушая благородные порывы юноше, готовит она его к благородной практической деятельности [в эпоху мужества, преобразуя отдельных людей, мало-помалу преобразует она нацию и все ее внутренние отношения].

Такова действительно поэзия Шиллера. Это вовсе не сентиментализм, не игра мечтательной фантазии, — нет, пафос этой поэзии — пламенное сочувствие всему, чем благороден и силен человек. [Пора такой поэзии не прошла и никогда не пройдет, пока человек будет стремиться к чему-нибудь лучшему, нежели окружающая его действительность.]

Мы желаем, чтобы издание г. Гербеля имело успех в публике. Шиллер много принес и может принести еще гораздо больше пользы нашему эстетическому [и нравственному] развитию. Недостатки, нами замеченные в издании г. Гербеля, доказывают только, что дело могло бы быть исполнено лучше, если бы в него не замешалась претензия. Но все-таки само по себе дело так хорошо, что, несмотря на несовершенную удачность исполнения, остается прекрасным.

Внешний вид издания красив. Оно напечатано в формате «Легкого чтения», на хорошей бумаге. Оно будет состоять из двух томов<sup>5</sup>. При втором г. Гербель хочет приложить биографию Шиллера, — от души желаем, чтобы она была написана хорошо.

**Оды Квинта Горация Флакка. Перевод с латинского А. Фета.**  
Спб. 1856<sup>1</sup>

Кроме очень немногих, слишком строгих, или, лучше сказать, слишком придирчивых критиков<sup>2</sup>, по нашему мнению, несправедливых к труду г. Фета, все ценители соглашаются, что этот

перевод Горация приносит большую честь переводчику, — это очень много значит, при том высоком понятии о таланте г. Фета, которое имеют все люди с изящным вкусом. Произведение, делающее честь г. Фету, должно быть превосходно. И, однако же, этот перевод, имеющий такое высокое достоинство, не произвел ни на публику, ни на литераторов того живого впечатления и в большинстве даже людей образованных (не говорим уже о людях, не приготовленных к наслаждению поэзией классического мира), не возбудил того увлечения, на которое, повидному, должна бы давать ему право неумолимость и достоинство работы, взявшей у талантливого переводчика столько времени, совершенной с любовью и внимательностью. Конечно, многие из людей с наиболее развитым вкусом восхищались переводом г. Фета; но многие другие, одаренные таким же тонким вкусом, и с ним вместе масса публики, остались довольно равнодушны к Горацию.

Иного, впрочем, и не должно было ожидать. Холодность приема, сделанного Горацию, недостаточно приписывать одной неприготовленности большинства нашей публики к наслаждению произведениями классической поэзии. Гомер и Анакреон с восхищением читаются у нас (как и везде) многими, не находящими особенного удовольствия в горадиевых одах; Ювенал, без всякого сомнения, будет у нас чрезвычайно популярен, лишь бы только был хорошо переведен. Нет, есть особенные причины равнодушия большинства к Горацию.

Этот изящный поэт — чисто поэт формы, тонкой и тщательной отделки, точного слога, грациозного выражения. Этим, по преимуществу, и ограничиваются его достоинства. Мы привыкли искать в лирической поэзии других качеств — пафоса, пламенного одушевления, задушевного чувства, глубокой скорби или страстной жизни. Ничего подобного нет у Горация, — пафос его поэзии выражается знаменитою одою его к Лицинию, по переводу г. Фета:

Счастливей проживешь, Лицин, когда спесиво  
Не станешь в даль пучин прокладывать следов,  
Иль, устрасая бурь, держаться боязливо  
Неверных берегов.

Далее говорится о том, что «золотая середина лучше всего», — словом, пафос поэзии Горация — мудрое правило, внушаемое баснею Крылова «Водолазы», из которых один, слишком державшийся берегов, едва доставал себе насущный хлеб, собирая дрянные раковины, другой, захотевший искать бесценных сокровищ в пучинах океана, утонул, а третий, избравший местом своих поисков место, где было ни глубоко, ни мелко, наловил множество жемчуга, — нравоучение очень пригодное для житейских дел, но вовсе не поэтическое. У Горация во всем почти

соблюдается умеренность и аккуратность. Воспевает ли он вино — он воспевает пиры умеренные, чинные, добропорядочные, где пьют по расчету, чтобы, не оставаясь трезвым, не быть и пьяным; у него нет ни разгула, ни страсти. Но кроме анакреонтической поэзии может быть поэзия стоицизма, поэзия суровой нравственной чистоты. Гораций — защитник нравственности, но какой нравственности? умеренной, уступчивой, снисходительной, допускающей все на свете: и вино, и разврат, но только в приличном, благопристойном виде, насколько вино и разврат не вредят здоровью, денежным делам и добропорядочному имени. Такова его поэзия во всем: и в любви, и в гражданских доблестях, и в патриотизме, — во всем он воспевает «умеренность и аккуратность» — он поэт житейской мудрости.

Такое содержание не увлечет людей нашего века, требующих от лирической поэзии огня страсти или глубины чувства. Латинисты восхищаются превосходною обработкою стиха у Горация, и нам кажется, что если перевод Горация имеет целью произвести впечатление на большинство, то эта цель может быть достигнута только одним путем: нимало не заботясь о верности, переводчик должен всем, — и размером, и словами, и фразами, и, пожалуй, целыми строфами жертвовать для всевозможной гладкости и легкости стиха, — бесцеремонно откидывать большую часть собственных имен, мифологических и исторических намеков, которыми щеголяет Гораций и которые темны для обыкновенного читателя, — словом, чтобы читатель не запнулся ни на чем и пробежал страницы Горация с такою же легкостью, как страницы какого-нибудь современного поэта. При этом стих должен быть совершенно легок и изящен, — нигде ни одного натянутого выражения, ни одной принужденной расстановки слов — пусть стихи льются, как вода. Что и говорить, такой перевод будет варварским искажением текста — будет дюсисовскою или даже хуже, нежели дюсисовскою переделкою<sup>3</sup>. Но только такая переделка и может сообщить переводу те достоинства, которые составляют очаровательность подлинника, только она может придать переводу совершеннейшую гладкость и легкость.

Г. Фет, конечно, не мог унизиться до такого варварства. Он хотел дать нам перевод, а не самоуправную переделку Горация. Потому его перевод, отличающийся высокими достоинствами в глазах истинного ценителя, хорошо знакомого с древним миром, сделан не для большинства, а только для избранных читателей и для обогащения русской литературы. Г. Фет трудился серьезно и добросовестно<sup>4</sup> и, действительно, успел дать нам перевод, который должен быть назван капитальным приобретением для русской литературы.



**Приключения, почерпнутые из моря житейского. «Чудодей»  
А. Ф. Вельмана. 2 ч. Москва. 1856<sup>1</sup>**

Явись «Чудодей» г. Вельмана в ту пору, когда еще в моде были романы, раздражительно действующие на нервы читателей, он имел бы значительный успех; но теперь сомнительно, чтобы кто прочел его от начала до конца, а если и найдутся такие охотники, то сомнительно, чтобы роман им понравился. В этом виновата, конечно, натуральная школа: она до такой степени испортила вкус публики, что теперь самый неопытный юноша, прочитав «Приключения Чудодея», назовет их хитросплетениями, почерпнутыми не из моря житейского, а из причудливой фантазии автора. Полю Февалю и Дюма с компаниею едва ли приходилось когда рассказывать такие хитрые и, вместе с тем, признаться, такие скучные вещи, какие рассказывает г. Вельман. Те как-то умеют и небылицам сообщать вид заманчивый, так что они читаются, и читаются иногда даже без скуки, несмотря на всю их пустоту; но увы! нам это решительно не удастся, и, может быть, это наше лучшее свойство, что мы не умеем заманчиво рассказывать небылицы. Г. Вельману, может быть, хотелось представить в лице Чудодея (Чудодей) тип пылакого, беспрестанно увлекающегося юноши, в котором потребность любить и быть любимым берет верх над всеми чувствами; но хотеть и уметь — два дела разные: у г. Вельмана этот тип превратился в такого сумасброда, которому гораздо приличнее было бы сидеть под присмотром сторожей или сестер милосердия, нежели так долго обнаруживать симптомы своих странностей в обществе.

Считаем не лишним дать понятие нашим читателям об этом шукаре Даянове:

«В затейливо убранном всею роскошью светских причуд небольшом кабинете лежал на полу, навзничь, прекрасный молодой человек, лет двадцати... Мертвенная бледность покрывала его лицо...

— Ты, братец, умер или еще нет? — сказал, наконец, молодой мужчина.

Как будто гальванический ток пробежал по членам молодого человека, он встрепенулся, покатился по полу и конвульсивно застучал ногами; потом вдруг вскочил с полу и бросился к молодому мужчине, обхватил его и повис на шее.

— Сделай одолжение, нельзя ли избавить от этих объятий!.. Ты с ума сошел, Даянов!

— Не могу! — вскричал молодой человек.

— Оставь, пожалуйста, что за шутки, — проговорил сердито молодой мужчина, освобождаясь от насильственных объятий.

— Шутки? Ты думаешь, что это шутки? — вскричал снова молодой человек, вскочив на ноги. — Ты, душа моя, не знаешь сердца человеческого, ты принимаешь это за шутки? Она дает бал — это шутка? а? Да говори, Ранев! Ну? шутка или серьезное это дело? — Софи дает бал! Уууу!..

И Даянов взвизгнул, перекинулся, застучал ногами, схватил шитую подушку из-под головы, бросил ее, как говорится, к чорту; подушка ударилась в тумбу с мраморной вазой; ваза слетела на пол, разбилась вдребезги».

На другой день после бала Софи совершенно неожиданно делается невестой сумасброда Даянова; но свадьба на время откладывается. Даянов кричит своему другу Рансееву:

Знаешь, что, говорит,  
Что она говорит,  
Милый друг, говорит,  
Счастье — Glück, говорит,  
Да не вдруг, говорит:  
По тебе, говорит,  
Тяп — да — ляп, говорит,  
И корабль, говорит;  
Да нельзя, говорит:  
Теперь пост, говорит,  
Сядь в маль-пост, говорит,  
И ступай, говорит,  
В Петербург, говорит.

. . . . .

«Повторив говорит тысячу раз «говорит», Даянов вцепился себе в волосы, бросился навзничь, покатился по полу, вскочил и исчез, как привидение».

Отсюда собственно начинаются затейливые приключения штукаря Даянова, но мы не беремся следить за ними, потому что, при всех усилиях, едва до половины дочитали первую часть их.

Что это такое? Неужели это талант? Неужели это творческая фантазия? Нет, это просто неудачное хитросплетение, выдающее себя за легкость и игривость рассказа.

< ИЗ № 2 «СОВРЕМЕННОГО» >

**Ньюкомы, история одной весьма достопочтенной фамилии.**  
*Роман В. М. Теккеря. Две части. Спб. 1856<sup>1</sup>*

Теккерей обладает колоссальным талантом. Из всех европейских писателей настоящего времени только один Диккенс может быть поставлен на ряду с автором «Ярмарки тщеславия» или выше его. «Ньюкомы» — один из тех романов Теккеря, которые самым блистательным образом обнаруживают всю громадность его дарования. И, однако же, «Ньюкомы», говоря по правде, произведение не вполне достойное автора. Странно такое противоречие между степенью таланта, обнаруживаемого произведением, и степенью достоинства самого произведения. Оно так странно, что мы, быть может, не решились бы выставить его во всей резкости, опасаясь за верность впечатления, сделанного на нас чтением последнего романа Теккеря, если бы не знали, что и на других он действовал таким же образом. Удивление к таланту автора и вместе с тем недовольство самим

романом чувствовалось почти каждым, кто имел терпение внимательно прочитать весь роман; а у многих и не доставало на то терпения. Мы знаем поклонников Теккерей, которые в последнем его романе пропускали целыми десятками страницы, хотя и были уверены, что каждая из этих небрежно перелистываемых страниц написана превосходно. Талант автора возбуждает удивление, произведение этого таланта вызывает только равнодушное пренебрежение, — это хороший урок для Теккерей, который, конечно, читает по-русски и чрезвычайно интересуется успехом своих романов в русской публике. Без сомнения, автор «Ньюкомов» ожидает, что скажут о его последнем романе русские журналы, чтобы воспользоваться их замечаниями. Надобно предполагать, что и другие английские романисты с интересом и не без пользы прочтут русские отзывы о писателе, которого берут образцом для себя. Искренно желая успехов английской литературе, мы откровенно выскажем мысли, возбуждаемые печальным несоответствием незначительного содержания с прелестным рассказом «Ньюкомов».

Мы пишем, как сказали, не для русских читателей, а для самого Теккерей, который, конечно, помнит содержание своего романа, потому и нет надобности пересказывать его. Да и из наших обыкновенных читателей, вероятно, все читали или, по крайней мере, перелистывали «Ньюкомов», — стало быть, и для них будет понятна наша статья. Займемся же прямо впечатлениями, которые возбуждаются последним романом Теккерей.

Рассказ, как мы говорили, прекрасен. Так как мы пишем свою статью собственно с тою целью, чтобы она была прочитана г. Теккереем, то и распространимся предвзвешенно в похвалах достоинствам романа, чтобы смягчить для г. Теккерей горечь замечаний, которые намерены мы ему сделать, а также и для того, чтобы г. Теккерей не вздумал назвать рецензента «московитским медведем, не имеющим понятия о законах изящного и требующим от искусства одной грубой утилитарности».

«Ньюкомы» заставляют нас восхищаться вашим талантом, г. Теккерей. От пролога, с чрезвычайною прелестью составленного из соединения нескольких басен и сказок, до эпилога, заключающего в себе грациозное напоминание о прологе, и проникнутое задушевною теплотою обращение автора к творческой фантазии и созданным ею лицам, — каждый эпизод, каждая сцена вашего романа таковы, что могли быть написаны только таким гениальным поэтом, как г. Теккерей. Все лица, выведенные в романе, живые люди, очерченные превосходно. Мы не будем хвалить прелестного monsieur де-Флорака, этого неподдельного француза, сорокалетнего юношу, плачущего о том, что огорчает своею беспутною жизнью обожаемую мать, — это лицо по достоинству было уже оценено и английскими журналами, отзывы которых давно уже, конечно, прочитаны г. Теккереем.

Но еще больше восхищают нас Эсель и полковник Ньюком. В обрисовке этих лиц видно истинное мастерство первоклассного художника. Эсель — девушка вполне милая, совершенно очаровательная. В ком есть хотя искра поэзии, тот не может не полюбить ее. И, однако же, эта девушка постепенно охлаждается к человеку, которого искренно любила, — охлаждается только потому, что выйти за него значило бы сделать неравный брак: быть женою живописца Клэйва, когда можно быть женою лорда Фаринтоша — ведь это ужасное пожертвование! Эсель делается невестою лорда Фаринтоша. Нужен необыкновенный талант, чтоб изобразить эту перемену, не уничтожая очаровательности и благородства в молодой девушке, — только великие писатели умеют понять и изобразить это соединение прекрасного и мелочного в одном и том же сердце. Только г. Теккерей мог остаться верен жизни, изображая это положение, мог заставить нас «понять и простить» в романическом лице то, что даже в живом лице действительного мира понимается и извиняется только опытнейшими, проницательнейшими знатоками жизни и человеческого сердца. А этот, поистине дивный, полковник Ньюком, — этот идеал доброты, любви, благородства, этот старик, сохранивший всю нежность, всю чистоту, всю пылкую самоотверженность юношеских своих лет, — как мастерски задумано и создано это лицо! Если б г. Теккерей не написал ничего, кроме сцен, в которых является полковник, этих одних сцен было бы достаточно для истинных ценителей искусства, чтобы назвать г. Теккерей великим поэтом. Да не подумают читатели, что мы говорим под влиянием увлечения, — нет, мы говорим холодно и беспристрастно: полковник Ньюком — лицо, достойное самого Шекспира, который умел изображать идеал человека так, чтобы этот идеал был не бесцветным отвлечением, не риторическою фигурою, не бесплотным совершенством, а живым человеком, с румянцем горячей крови на щеках. Это дело, доступное только немногим избраннейшим гениям, это высочайшая степень искусства. Да, сам Шекспир позавидовал бы Теккерее в том, что Теккерей дал нам этого полковника Ньюкома. Мы не хотим после этого говорить о совершенстве, с которым обрисованы Теккереем все второстепенные лица романа, — Фред Бейам, Гониман и его сестра, другие родственники полковника, — начиная с честной, холодной и практически мудрой бабушки до негодяя Барнса, — не говорим ни о леди Кью, ни о м-ме де-Флорак, ни о Розе, первой жене Клэйва, ни о ее матери, этом драгуне в юбке, — все эти лица прекрасны, все достойны великого художника, — так, мы восхищаемся ими; но создать полковника Ньюкома — это истинный подвиг в искусстве, это почти тоже, что создать Дездемону или Офелию.

Пусть не упрекают нас в восторженном тоне речи, — да, исполнкою силою таланта обладает писатель, который создал пол-

ковника Ньюкома. И какую благородною, симпатичною натурою должен быть одарен человек, могший создать полковника Ньюкома! Талант могуч и возвышен только тогда, когда соединен с благородною и сильною натурою. Можно лгать довольно складно в прозе, — в поэзии лгать невозможно, она скажется вычурною, нелепою реторикою; чего нет в душе автора, того не будет в его созданиях. И действительно, какую любовью согреты рассказы Теккерей! У него нет ни одной холодной страницы, у него нет ни одного мертвого слова. Радостно сочувствует он всему живому и прекрасному. И какую прелесть дает эта широкая, горячая симпатичность его рассказу! Не книгу читаете вы, раскрывая «Ньюкомов», — нет, вы беседуете с другом о его и ваших друзьях, — он сам, этот благородный Теккерей, которого не можете вы не любить под именем Пенденниса, хлопочет о них, горюет и радуется за них — и ваша дружеская беседа оживлена, освещена присутствием, участием его милой жены, его Лауры; говоря о них, он говорит о ней, — ведь и она любила их, ведь она являлась ангелом утешителем их, и его дружеский разговор озаряется воспоминанием о его собственной, вечной, вечно-счастливой любви, — и она, краснея, жмет его руку...

Боже! как хороши бывают люди! Сколько любви и счастья, сколько света и теплоты!

Но... но отчего же меня утомляет эта сладкая беседа с другом, которого я так люблю, который так хорошо говорит?

Но... отчего же, когда я дочитал книгу, я рад, что, наконец, дочитал ее?

Будем говорить прямо: беседа ведена была о ничтожных предметах, книга была — пуста.

После всего сказанного нами о лицах и рассказе «Ньюкомов» надеемся, никто не заподозрит нас в желании не замечать достоинств этого романа; а кого не убедит это доказательство, тот может поверить, что, конечно, мы не стали бы переводить этого огромного романа в нашем журнале, если б не думали, что, несмотря на все свои недостатки, «Ньюкомы» — одно из лучших произведений новой литературы. Действительно, роман этот написан чрезвычайно хорошо, — с этим согласятся все наши читатели. Заговорив о его достоинствах, мы, хотя и старались, не могли удержаться от увлечения, — и мы далеко не кончили всего, что могли бы сказать о его достоинствах — каждый читатель легко прибавит к нашим похвалам новые похвалы, столь же справедливые и важные. Не только лица романа задуманы очень верно природе и обрисованы очень отчетливо, не только рассказ согрет неподдельным вдохновением автора, о каком бы чисто формальном требовании художественности вы ни вздумали, — каждому такому требованию роман удовлетворяет почти безукоризненно. Какая в нем легкость и безыскусствен-

ность речи! От него не пахнет потом, этим столь противным и обыкновенным запахом так называемых «художественно обработанных» произведений, — в нем не видно ни малейшей претензии со стороны автора, — этой несносной претензии раздувающегося самолюбия, кокетничанья своею грациозностью, своим знанием жизни или своим умом, своим олимпийским величием — о, как немногие счастливицы между поэтами умеют прятать эти красные павлиньи ноги, безобразящие надутую птицу! — а какое знание человеческого сердца, какая обширная и верная житейская опытность, какое богатство и разнообразие наблюдений, какой мудрый и беспристрастный, какой широкий и любящий, какой благородный и кроткий взгляд на жизнь, какая непреклонная правда в рассказе! И если говорить о манере автора, какой тонкий и милый юмор, какая веселая и вместе едкая ирония!

Мы опять увлекаемся в восклицательный тон; действительно, если говорить о достоинствах теккереева таланта и теккереевых романов, то нельзя говорить равнодушно, — так многочисленны и велики они, и в «Ньюкомах» эти достоинства обнаруживаются не менее блестящим образом, нежели в «Ярмарке тщеславия» или «Пенденнисе». Однако же невозможно остановиться на этом восхищении; нельзя забыть того назидательного факта, что русская публика, — которая скорее пристрастна, нежели строга к Теккерее, и во всяком случае очень хорошо умеет понимать его достоинства, — осталась равнодушна к «Ньюкомам» и вообще готовится, повидимому, сказать про себя: «если вы, г. Теккерей, будете продолжать писать таким образом, мы сохраним подобающее уважение к вашему великому таланту, — но — извините — отстанем от привычки читать ваши романы».

Для Теккерее, конечно, не много горя от такой угрозы, — он, бедняжка, в простоте души и не подозревает, скольких поклонников имеет на Руси и сколько из этих поклонников готовы изменить ему. Но было бы хорошо, если б этот опыт, нам посторонний и никому не обидный, обратил на себя внимание русских писателей, — было бы хорошо, если б они подумали о том, нельзя ли им воспользоваться этим уроком.

Почему, в самом деле, русская публика насилу одолела, протирая смыкающиеся сном вежды, «Ньюкомов» и решительно не одолеет другого романа Теккерее в таком же роде? Почему не принесли никакой пользы «Ньюкомам» все те совершенства, о которых нельзя говорить без искреннего восторга, если только говорить о них?

Не вздумайте сказать: «Ньюкомы» слишком растянуты. Это объяснение внушается слишком громадным размером романа, но оно нейдет к делу, — во-первых, потому, что оно не совсем справедливо, во-вторых, и потому, что ничего не объясняло б, если б и было справедливо.

Если кто, то уже, конечно, не мы будем защитниками растянутости, этой чуть ли не повальной болезни повествователей нашего века. Сжатость — первейшее условие силы. Драма обязана преимущественно строгой ограниченности своих размеров тем, что многие эстетики считают ее высшею формою искусства. Каждый лишний эпизод, как бы ни был он прекрасен сам по себе, безобразит художественное произведение. Говорите только то, о чем невозможно умолчать без вреда для общей идеи произведения. Все это правда, и мы готовы были бы причислить к семи греческим мудрецам почтенного Кошанского за его золотое изречение: «всякое лишнее слово есть бремя для читателя». Но «Ньюкомы», если и грешат против этого правила, и даже очень сильно грешат, то все же не больше, — напротив, даже меньше, нежели почти все другие современные романы и повести. Не обманывайтесь тем, что «Ньюкомы» составили 1042 страницы журнального формата в нашем переводе, — цифра действительно ужасна, и мы не сомневаемся в том, что если б, вместо 1042 страниц, Теккерей написал на эту тему только 142, то есть в семь раз меньше, то роман был бы в семь раз лучше, — но почему мы так думаем, скажем после, — а теперь пока заметим, что в том виде, какой имеет его роман, вы не можете при чтении пропустить пяти-шести страниц, не потеряв нити и связи рассказа, — вам придется воротиться назад и перечитать эти пропущенные страницы. В иной век это не служило бы еще особенной честью, а в наш век бесконечных разведений водою гомеопатических доз романного материала и то уже чуть не диво. Когда-то, выведенный из терпения укоризнами многих тонких ценителей изящного, за то, что не читал пресловутой «*Dame aux Camélias*»<sup>2</sup>, рецензент взял в руки эту книжку, прочитал страниц десять — скучно, — перевернул пятьдесят страниц — «не будет ли интереснее тут, около 60-й страницы» — и к великому удовольствию заметил, что ничего не утратил от этого скачка, — на 60-й странице тянулось то же самое положение, — или, может быть, и другое, но совершенно такое же, как и на 10-й странице; прочитав двести страниц, опять перевернул тридцать — опять то же, — и дальше, и дальше по той же системе, и все шло хорошо, связно, плавно, как будто бы непрочитанных страниц и не существовало в книге. А книжка и не велика, кажется. Вот это можно назвать растянутостью.

Теккерей так читать нельзя — как же винить его в растянутости? У него очень обилён запас наблюдений и мыслей, — он плодовит, «слог его текущ и обилён», по терминологии Кошанского, — оттого и романы его очень длинны, это порок еще небольшой, сравнительно с другими. «Но все-таки 1042 страницы — это ужасно!» Нет, числом страниц не определишь законного объема книги. «Том Джонс»<sup>3</sup> или «Пиквикский клуб» не меньше «Ньюкомов», а эти обширные рассказы прочитываются так легко,

как самая коротенькая повесть. Все дело в том, чтобы объем книги соответствовал широте и богатству ее содержания.

Но пусть «Ньюкомы» назовутся растянутым рассказом — это слово само по себе ничего не объясняет, — оно только указывает на необходимость другого объяснения, заставляет вникнуть в вопрос не о том, хорошо ли вообще роману иметь 1042 страницы журнального формата, — вообще ничего определительного нельзя сказать об этом, — почему не написать и 1042 страницы, если такого широкого объема требует содержание? Нет, надобно вникнуть в вопрос о том, каково содержание романа, — может ли оно занять читателя более, нежели на четверть часа? О серьезном предмете можно толковать и несколько дней, и несколько недель, если он так многосложен, но если пустое дело растянется в такую длинную историю, то не лучше ли бросить его? Ведь игра не стоит свеч: если пустяков нельзя решить в пять минут, лучше предоставить их решение судьбе, чтобы не ломать головы понапрасну.

Вот в этом-то смысле для «Ньюкомов» было бы лучше иметь вместо 1042 страниц только 142. К сожалению, Теккерееву вздумалось вести с нами слишком длинную (умную, прелестную, все это так, но длинную) беседу о пустяках.

Сначала мы попробуем доказать это с литературной точки зрения, а потом и с простой житейской точки зрения, — с точки зрения здравого смысла.

Восхищаясь от второго до последнего всеми лицами романа, мы не упомянули о первом лице его, о герое романа — сыне полковника Ньюкома, Клэйве Ньюкоме. Дело известно, что реже всего удается романисту очертить главное лицо романа, — герой выходит бесцветен. Есть этот грех за бедным Клэйвом, — бледноват выходит он сравнительно со всеми другими лицами, из которых каждое имеет такую выразительную физиономию. Но этот грех, важный в художественном отношении, очень легко прощается читателем, привыкшим к снисходительности относительно всяких первостепенных личностей, даже и первостепенных личностей в романах. На героя, — именно за то, что он герой, — возлагаются самые легкие требования: пусть только служит он центром, около которого группируются лица и события, мы, пожалуй, и тем останемся довольны. Но тогда пусть он не имеет и претензии приковывать преимущественно к себе наше внимание, — у Клэйва есть этот недостаток, он своею мизерною судьбою и своими жиденькими ошущеньицами отвлекает наше внимание от других лиц, истинно интересных, он хочет быть не только центром, но и двигателем романа, — ну, это ему не по силам, — и роман движется — не то чтобы медленно, это бы еще ничего, — но вяло, движется к целям вовсе не интересным. Клэйв хочет давать тон всему хору, — и хор поет довольно пустые мотивы довольно безжизненным, хотя и стройным тоном.



Голоса хороши, но что ж делать, если капельмейстер слаб и плох? Полковник Ньюком только и дела делает, что хлопочет об обеспечении участи своего сына, — старается разбогатеть, чтобы милый Клэйв мог на досуге рисовать милые картинки (Клэйв, видите ли, хочет быть живописцем), — хочет женить его на Эсели, которую Клэйв любит. Что ж, со стороны полковника это очень похвально; нам-то какое дело, будет ли одним посредственным живописцем больше или меньше и будет ли мистер Клэйв умеренно-счастлив с своею милою Эселью? Мы знаем, что бедный юноша не застрелится и не утопится, выслушав от Эсели, что она не хочет быть его женою, — куда ему застрелиться! он не выпьет даже лишней рюмки хересу с горя, — мы не уверены даже, вырвет ли он хотя волосок из своих прекрасных локонов, — он будет плакать, — это его дело, — но ведь известно, что слезы — вода для таких натур. Выйдет ли за Клэйва Эсель? И это слабо нас интересует: любовь такого человека приятна, если хотите, — почему же не желать хорошей девушке смиренного и любящего мужа? Дай бог ей всякого счастья! Но, по нашему мнению, мисс Эсель очень невыгодно рекомендовала бы себя, если б сходила с ума от отчаяния, что отказала Клэйву, или восхищалась восторгом до седьмого неба, удостоиваясь, наконец, счастья быть его супругою, — к счастью, она и не делает этого: нам кажется, что полковник Ньюком имеет над ее мыслями гораздо больше власти, нежели его прекраснотрудный сынок, которого, впрочем, и мы любим от всей души как человека хорошего. Мы не имеем никакого основания не любить его. Только нам кажется, что и Эсель любит его не более сильною любовью, нежели мы.

Но Теккерей вздумал питать к нему более сильное участие. Это ошибка со стороны мистера Пенденниса, — и мы переходим от литературной точки зрения к простым соображениям здравого смысла, — записные любители художественных рассуждений могут называть эти соображения излишними, не идущими к делу, — но для нас, признаемся, они важнее и интереснее всех других предметов, — мы даже скажем, что они-то собственно и составляют цель нашей рецензии, — все предыдущее написано только для того, чтобы не получить от Теккеря укоризны за пренебрежение к художественным совершенствам и условиям, «пренебрежение, достойное московского медведя, не имеющего ни чувства художественной красоты, ни понятия об ее условиях».

С литературной точки зрения, «Ньюкомов» погубил герой, Клэйв; а с простой точки зрения, погубила этот роман мысль Теккеря, что великий художник может серьезно говорить о чем его душе угодно, хотя бы о таких вещах, как жизнь и приключения мистера Клэйва Ньюкома. Видите ли, все дело состоит только в том, чтобы рассказать хорошо, — что ни расскажи

хорошо, все будет хорошо. Хорошо или нет, пока не станем разбирать, а подумаем только о том, нужен ли кому-нибудь, интересен ли кому-нибудь будет ваш рассказ.

Вам нравится говорить о мистере Клэйве Ньюкоме, потому что вы его любите. Прекрасно. Но мне он человек посторонний, — примите же на себя труд сообразить, есть ли какой-нибудь объективный интерес в вашем рассказе, интересны ли для меня, для одного из толпы, ваши рассказы. Мистер Клэйв восхищается, находя в себе талант к живописи, — очень интересно это для меня! Иное дело, если б с делом о живописи соединялись для Клэйва серьезные, действительные, общепонятные интересы: если б вы поставили это дело как вопрос о средствах к жизни, или о борьбе гения с обстоятельствами, призвания с предубеждениями, — о, тогда иное дело, — картины и живопись были бы для вас случаем говорить о человеческой жизни, о силах, ею управляющих, о быте людей, но вашему мистериу Клэйву от нечего делать вздумалось писать картины, которые никому не нужны (потому что плохи), да и самому ему бесполезны (потому что живет он в довольстве, сначала на счет отца, потом на счет жены), — вы так и ставите это дело: «послушайте, как мистериу Клэйву вздумалось, от нечего делать, что он будет живописцем», — да что же тут слушать? Далее, мистериу Клэйву случилось полюбить мисс Эсель, — прекрасно; что ж, это была истинная страсть? — Да, говорите вы. — Посмотрим. Мисс Эсель говорит ему: «бросьте вашу глупую живопись, будьте офицером, адвокатом, купцом, банкиром, членом парламента, чем хотите, только не живописцем, и я выйду за вас, потому что вы человек хороший; но согласитесь, ведь до сих пор вы не занимаете никакого положения в обществе; я не хочу быть женою ничтожного человека». — «Не могу бросить живописи, буду рисовать свои картины, которых не допускают на выставку за то, что они плохи», — отвечает Клэйв. Ну, глубока же его страсть к Эсели! Такие положения и страсти годятся для водевиля, для повести в водевильном духе, — но если говорить о вздоре серьезно, то кому же будет охота слушать рассказ?

Правда, можно брать какой угодно сюжет, но если сюжет пуст, он должен выкупаться богатством обстановки. Пусть приключения и ощущения Клэйва служили бы рамою для соединения эпизодов более глубокого содержания, — тогда истинное содержание романа состояло бы уже не в приключениях Клэйва, а в эпизодах, чуждых этому пустому сюжету, связывающему их внешним образом. Но нет, Теккерей хотел сделать содержанием своего романа именно Клэйва с его приключениями и его никому не нужными, ни для кого не интересными ощущениями. Тратить свой талант на подобные пустяки нельзя безнаказанно. Наказание Теккерейю было то, что «Ньюкомы» ничего не прибавили к его славе, — мы говорим, конечно, о славе его в Англии.

Зачем написан этот роман? — спрашиваешь себя, дочитав его. — Ни за чем, если не за тем, что Теккерееу вздумалось из ничего создать роман. В романе нет содержания, и это убивает его.

«Как нет содержания? А сколько в нем прекрасно задуманных и прекрасно очерченных характеров?» — И кроме того, много другого прекрасного: удивительное знание жизни и т. д., и т. д., о чем смотри выше. Но именно потому и досадно читать его, что в нем есть все эти прекрасные вещи. Они ни к чему не служат и потому ни на что не годны. Зачем, например, выводятся все эти прекрасно обрисованные характеры? Затем, чтобы вы знали, в каких отношениях были они к герою и главным событиям романа, — а герой и события пусты, потому и роль всех других действующих лиц ничтожна. Вот, например, полковник Ньюком — он прекрасный человек; что ж из того? — ничего, он прекрасный человек. — А, ну так мы очень рады тому, что он прекрасный человек, но очень жалеем о том, что не представилось ему случая сделать ничего хорошего в романе — надеемся, в жизни он делал много хорошего, но Теккерей не почел нужным выставить таких положений и столкновений.

Обидно за этого бедного полковника, обидно за всех других лиц романа, столь прекрасно очерченных — они являлись перед нами без всякого дела и, как ненужные нам люди, должны были умолять нас о благосклонном внимании, считать себя осчастливленными, если мы нехотя, с оскорбительным пренебрежением, позволяли им оставаться в нашем присутствии, — бедные, они, кажется, каждую минуту трепетали, что читатель, наскучив их празднословием, скажет им: «извольте убираться из моей комнаты, — ни вам нет дела до меня, ни мне нет дела до вас». Жалкая судьба! В какое странное положение поставлены отсутствием дельной мысли эти люди, которые могли бы быть такими интересными, такими дорогими для нас гостями, если б пришлось им говорить или делать что-нибудь достойное внимания.

В прискорбное положение ставит себя автор, когда является перед читателем с празднословием. Ведь он хочет занимать своею речью общество, а в этом случае неизбежен выбор между двумя положениями; если человек не имеет права сказать: «вы должны меня слушать, потому что дело, о котором идет речь, нужно и важно для вас», он должен заискивать праздно внимания слушателей, должен для их забавы сделаться сказочником, потешником, а роль забавника, потешника нимало не завидна.

Досадно видеть, когда силы истрачиваются попусту, когда здоровый и умный человек, — лучше уж ничего не делал бы он, если не хочет делать чего-нибудь нужного, — нет, он занимается толчением воды, пересыпаньем из пустого в порожнее, — вырезыванием из очень милой цветной бумаги очень милых лошадок, свечек, деревцев, даже человечков, рисованием замысловатых и приятных арабеск.

«Это каприз таланта» — кому нужны капризы? — «Это свобода творчества» — разве свобода состоит в празднословии? — «Это мне доставляет удовольствие» — жаль, если вы не находите другого источника удовольствия, кроме пустяков, не заслуживающих внимания. — «Я не нуждаюсь в вашем внимании» — так зачем же напрашиваетесь на него, выставляя книгу в окнах книжных магазинов?

Таким-то образом отразились на «Ньюкомах» последствия ошибки, порожденной или гордостью или предубеждением: «с моим талантом нет надобности ни в какой мысли, ни в каком дельном содержании. Отделка хороша, рассказ прекрасен — чего же больше? — и роман будет хорош».

И роман оказался имеющим мало достоинства, — даже художественного достоинства. Великолепная форма находится в нескладном противоречии с бедностью содержания, роскошная рама с пустым пейзажем, в нее вставленным. В романе нет единства, потому что нет мысли, которая связывала бы людей и события; в романе нет жизни, потому что нет мысли, которая оживляла бы их.

Советуем прочитать «Ньюкомов» тем, которые думают, что для романа не важно содержание, если есть в нем блестящая отделка и прекрасный рассказ. О необходимости таланта нечего и говорить, — нечего говорить о том, что бессильный работник — не работник, что слепой — не живописец, что хромой — не танцор, что человек без поэтического таланта — не поэт. Но талант дает только возможность действовать. Каково будет достоинство деятельности, зависит уже от ее смысла, от ее содержания. Если бы Рафаэль писал только арабески, птичек и цветки — в этих арабесках, птичках и цветках был бы виден огромный талант, но скажите, останавливались ли бы в благоговении перед этими цветками и птичками, возвышалось ли бы, очищало ли бы вашу душу рассмотрение этих милых безделушек? Но зачем говорить о вас, будем говорить о самом Рафаэле — был ли бы он славен и велик, если бы писал безделушки? Напротив, не говорили ли бы о нем с досадою, почти с негодованием: он погубил свой талант?

В настоящее время из европейских писателей никто, кроме Диккенса, не имеет такого сильного таланта, как Теккерей. Какое богатство творчества, какая точная и тонкая наблюдательность, какое знание жизни, какое знание человеческого сердца, какое светлое и благородное могущество любви, какое мастерство в юморе, какая рельефность и точность изображений, какая дивная прелесть рассказа! — колоссальным талантом владеет он! — все могущество таланта блестящим образом выразилось в «Ньюкомах», — и что же? останется ли этот роман в истории, произвел ли он могущественное впечатление на публику, заслужил ли он, по крайней мере, хотя одобрение записных ценителей изящного,

которые требуют только художественных совершенств от поэтического произведения? — Ничего подобного не было. Равнодушно сказали ценители изящного: «в романе виден огромный талант, но сам роман не выдерживает художественной критики»; равнодушно дочитали его иные из большинства публики, иные и не дочитали. Не упомянет о нем история, и для славы самого Теккерея было бы все равно, хоть бы и не писать «Ньюкомов».

**Биржевые операции. Соч. В. Безобразова. Москва, 1856<sup>1</sup>**

Со времен Ло страсть к биржевым операциям никогда не овладевала в такой степени умами парижского населения, как в последние два-три года. Парижская биржа<sup>2</sup> превратилась в истинный игорный дом, или «ад», как называется на техническом языке место, где ведутся запрещенные азартные игры. Долго радовались этому так называемому «развитию духа промышленности и предприимчивости» люди, ослепленные одною теориею, и ловкие интриганты, находившие свою выгоду в развращении общественных нравов. Наконец биржевая игра достигла таких ужасных размеров, что грозила погибелью не только сотням отдельных людей, — она уже погубила тысячи, развратила десятки тысяч людей, — но и падением всей системы французских кредитных учреждений, банкротством всей французской торговли и промышленности, разорением государственной казне. Устрашенное этою перспективою, французское правительство увидело необходимость принять меры для обуздания пагубной страсти. Оно выразило свое неодобрение, оно думает обложить пошлиною все биржевые сделки, чтобы прекратить возможность фальшивой продажи кредитных бумаг со стороны не имеющего их, и фальшивой покупки со стороны не имеющего ни денег, ни намерения действительно купить их.

Основной механизм биржевой азартной игры очень прост. Государственные фонды и акции промышленных предприятий постоянно колеблются в цене, сообразно различным финансовым и политическим обстоятельствам. И вот, положим 20 числа, сходятся на бирже два человека — оба без больших наличных денег, оба без всяких билетов государственного долга; без всяких акций в кармане, но с желанием спекулировать. Положим, что трехпроцентные облигации государственного долга (номинальная цена которых 100 франков) продаются 20 числа по семидесяти франков, — к 1 числу следующего месяца поднимутся они в цене или упадут? И если упадут или поднимутся, то на сколько именно? Один думает, что 1-го числа они будут продаваться по 72 франка или выше. Другой полагает, что они будут стоить тогда не более 71 франка. И вот эти люди заключают между

собою условие: тот, который думает, что облигации будут стоить более 72 франков, обязывается взять у другого, думающего, что они будут тогда стоить менее 71 франка, 1 000 облигаций по 71 франку, а этот обязывается продать их ему. Приходит первое число месяца. Цена облигации 70 франков с половиною, — итак, обязавшийся купить должен взять их, по условию, пятьюдесятью сантимами дороже действительной цены, — он проигрывает (по  $\frac{1}{2}$  франка на каждой облигации) 500 франков, — столько же выигрывает продающий. А если бы цена облигаций была 68 франков, проигрыш одного и выигрыш другого равнялся бы 3 франкам на каждую облигацию, — всего равнялся бы сумме в 3 000 франков. Напротив, будь цена облигаций выше 71 франка, проиграл бы продавший, выиграл бы купивший. Ни тот, ни другой не имеют денег и намерения действительно покупать или продавать облигации, — они имели в виду только этот выигрыш от разницы между условной ценой, по которой заключена сделка, и действительной ценой облигации в назначенный срок, и весь расчет между ими состоит в том, что проигравший уплачивает выигравшему сумму проигрыша.

Это, как видим, не покупка и не продажа, — это не более, как пари о том, какова будет цена облигаций в назначенный срок.

Мы говорили об основном виде биржевой игры, — он усложняется разными условиями и правилами, так что формы сделок становятся чрезвычайно разнообразны, но сущность их остается всегда одна и та же; все они — пари о том, какова будет через несколько времени цена государственных облигаций или акций какого-нибудь промышленного предприятия.

Огромные размеры, которых в последнее время достигла игра на парижской бирже, вызвали всеобщее внимание к этому явлению. В различных наших журналах за прошлый год явилось несколько статей о биржевых спекуляциях и операциях. Из этих статей лучшие были написаны г. В. Безобразовым и напечатаны в «Русском вестнике»<sup>3</sup>. Книжка, заглавие которой мы привели выше, — отдельный оттиск этих статей. Рекомендуем ее всем желающим ближе познакомиться с биржевыми оборотами.

## **Труды членов Российской духовной миссии в Пекине.**

*Том III. Спб. 1857*

Из статей, помещенных в третьем томе «Трудов русской миссии в Пекине», первая и важнейшая по содержанию — «События в Пекине при падении Минской династии» г. М. Храповицкого<sup>1</sup>. Рассказ этот составлен по документам, сохранившимся от того времени.

Падение Минской династии совпадает с завоеванием Китая манджурами, которые с того времени господствуют в Китае. Эти события совершились в 1644 году.

Последним государем Минской династии был Чун-чжэн, царствовавший уже около 17 лет, когда последовал решительный переворот, лишивший его престола и жизни. Причиной падения была излишняя доверчивость Чун-чжэна к окружающим его вельможам и бедствия народа, угнетаемого ими; империя волновалась, но Чун-чжэн ничего не знал о том в своем дворце:

«Возмущения, заранее происходившие в разных концах империи, требовали особенной бдительности и усилий правительства; но государь, которого едва ли не единственным недостатком были излишняя доброта и кротость, слабо смотрел за окружающими его престол вельможами и часто не мог видеть дел в настоящем их виде из-за темного покрывала, которым недостойные, но любимейшие сановники закрывали ему глаза; даже в то время, когда мятежники овладели областным городом Чжэн-дин-фу и находились от столицы на расстоянии только 300 кит. верст, все молчали об этом, и государь уже после узнал об этой потере. Поэтому двор не слишком беспокоился и смотрел на дела в уменьшительное стекло; но тем тревожнее было его пробуждение, когда надо было действовать решительно и смело, когда опасность была перед глазами».

Ли-дзы-чэн, предводитель мятежников, приближался уже к Пекину с юга; в то же время взбунтовались войска, стоявшие к северу от Пекина, — это было в конце марта 1644.

«При двойной опасности с севера и юга жители столицы пришли в сильное волнение; не беспокоились, кажется, только одни главнейшие сановники: они спокойно заседали в своих палатах и, как всегда, заняты были мысленно о своей важности; дела государственные как будто не касались их; государь был неспокоен, но не имел столько силы воли и мудрости, чтоб решительными распоряжениями заставить бояться и уважать себя, сделаться действующим лицом в это трудное время и стать во главе противодействия мятежу. Он был не способен к тому, напротив, еще более прежнего полагался на усердие окружавших его евнухов и других сановников, которые и довершили падение династии. В столице начали принимать меры предосторожности, но какие? Они состояли в тщательном дозоре и забирании под стражу лиц подозрительных, в усилении правил взаимного обезопасения жителей, в запрещении ходить ночью по улицам, в свидетельствовании казнохранилищ и магазинов. Что касается до мятежников, то только повелено было командующему войсками в Чжэнь-шо наблюдать за действиями и направлением их».

Овладевая городами и укреплениями, стоявшими на их пути, мятежники приближались к Пекину. Войска императора большею частью изменяли ему; жители провинций присоединялись к мятежникам; правительство не имело ни денег для энергического ведения войны, ни возможности заготовить хлеб для пропитания жителей и гарнизона столицы на время осады. Оно надеялось на пожертвования, — но высшие сановники первые подавали пример равнодушия к общему делу и корыстолюбия. Тогда император издал следующий манифест, объясняющий причины волнения и обещающий устранение этих причин на будущее время:

«Уже семнадцать лет, как я наследовал великий закон правления; в глубине сердца помышляя о величии верховного царя, низводящего и возводящего царей, о важности поручения, возложенного на меня от предков, — я трепещу днем и ночью, не дерзая предаться беспечности. Между тем бедствия следуют одно за другим, дух мятежа день ото дня распространяется подобно пламени. Забыв благодеяние воспитания в продолжение столетий поколений, мятежники свирепствуют двадцать лет с жадною неистовства: простить их — делаются еще надменнее, приласкать — вдруг поднимают бунт и, что всего губительнее, заражают других тем же мятежным духом, а вновь увлеченные ими вовсе забывают при этом долг мести бунтовщикам. Я — отец и мать народа и не могу прикрыть своих птенцов крыльями; народ — мои дети и не могут защитить и охранить меня. Губернии Шань-си и Хэ-нань представляют груды развалин, губернии Цзян-нань и Ху-гуан подверглись гибели и злодействам; если виною всего этого не я, то кто же примет вину на себя? Поэтому острые стрелы, поражающие народ, смерть его в огне и воде, кровь, текущая потоками, трупы, образовавшие собою целые горы — все это моя вина. Пожертвования корма для лошадей и продовольствия для войск, перевозка войска и провианта и вспомоществование войску в пути, множество прибавочных налогов без средств к приобретению достоинства, обременительные займы казны на предварительное обеспечение будущих нужд государства — опять моя вина. Жилища народа, пустые как висячий колокол, совершенно заброшенные и заросшие травой поля, бедствия пожара без дверей для спасения, вопли, вынужденные жестокостью холода и ветра, и вслед за ними лишение жизни — опять моя вина. Постоянный ропот на неурожайные годы, засухи и наводнения, взаимно сменяющиеся, непрерывные войны, гибель от заразных болезней, нарушение соглашения между небом и землею, отсюда всеобщие жалобы — опять моя вина. Что касается до властей, занимающих высшие должности и не соблюдающих закона, — до низших чиновников, не знающих честности, до советников государственных, которые лишь двигают головою и рассуждают бестолково, до надменных военачальников, которые угнетают слабых и не совершают никаких подвигов, — то этому причиною то, что я в управлении потерял истинный закон и не возбудил в сердцах истинной благодарности. Думая об этом день и ночь, я не нахожу места для успокоения. Теперь я объявляю всей империи, что отныне я возложу на себя большие заботы и труды, глубоко вникну в прежние ошибки, буду особенно заботиться о добродетели, хранить древние уставы, чтоб утолить скорбь и стенания, итти путем человеколюбия, чтоб привлечь сердца людей, уничтожу прибавочные повинности, чтоб укрепить силы народа. Что касается до сборов на продовольствие войск, то они вынуждены лишь необходимостью, поэтому главные правители губерний, взывая народ к жертвованиям, не должны нарушать закона успокоения и питания. Если же некоторые из подчиненных им чиновников будут прибавлять хоть каплю к сборам, — незаконно и самовольно собирать повинности или будут извращать уставы о штрафах и несправедливо подвергать казням и таким образом доводить народ до того, что он не рад будет жизни, то таких немедленно предавать суду. Если будут между народом такие, которые станут перебегать из одного места в другое, то не только освобождать их от взыскания повинностей, но еще стараться приютить их и оказать им вспоможение, чтоб они не были вынуждены оставить свое местопребывание. Что касается до чиновников, за разные преступления лишенных должностей, то если между ними есть честные, верные, справедливые и прямодушные, некорыстолобивые и способные, которые достойны того, чтоб употребить их на должности, — о таких Палаты чинов и военная должны представить, по тщательном исследовании, и определить. Если между лицами, вышедшими из незнатного рода, будут отлично храбрые, которые возьмут обратно какой-либо город, то таким открыть доступ к получению чинов, переходящих по закону к потомкам; если те, которые подпали общему бедствию и присоединились к мятежникам, оставят их, обратятся на путь закон-



ный и возвратятся, то простить им преступление и дать возможность оказать заслуги; если кто представит главу мятежников живого или мертвого, то такого наградить достоинством Хоу. Верность государю и любовь к отечеству общи сердцам всех; при омытии посрамления и уничтожении бедствий кто не разделит общего труда? Получив великие милости от предков, пусть все постараются содействовать великому делу полного усмирения государства!»

Но было уже поздно: неприятели шли прямо на столицу, и «сердца людей затрепетали».

«Государь каждый день призывал сановников для совещания, но советники ограничивались самыми пустыми предложениями, как было и в прежних собраниях. При этом высшие сановники старались удержать низших от лишних речей, — желали зажать им рот, — а низшие хотели воспользоваться этим случаем, чтобы, чрез угождение высшим, снять их милость и иметь надежды на хорошее будущее. Потому при всяком совещании низшие чиновники, в виду своих начальников, только старались показать свое смирение, а большая часть из них вовсе молчала. Государь ясно видел, что не было людей, желавших поддержать его в это трудное время, и, по окончании каждого совещания, с горькими слезами возвращался во дворец».

Мятежники подступили к стенам столицы; гарнизон защищался слабо; сановники большею частью изменяли и присоединялись к мятежникам, успех которых предвидели; наконец внешний город был взят, — надежды на спасение не оставалось. Собственною рукою Чун-чжэн убил любимую жену, потом других жен и дочерей своих, чтобы не достались они на позор мятежникам, — после того лишил и себя жизни, кровью из своего пальца написав на верхней поле платья: «Уже 17 лет я сидел на престоле, как мятежники стеснили столицу. Правда, мои добродетели ничтожны, и я возбудил гнев верховного неба; но причина всего этого в том, что чины вводили меня в обман. Пусть мятежники раздробят на части мой труп, но не наносят вреда ни одному из народа».

Между тем мятежники овладели всеми частями города. Они жгли, грабили, резали, неистовствовали всячески. Множество людей, особенно женщин, лишали себя жизни, чтоб избежать мучений и позора. Ли-дзы-чэн, предводитель инсургентов, принимал самые энергические меры для укрощения буйства своих солдат, но не мог удержать их. Тела Чун-чжэна и его первой жены были похоронены им со всеми почестями. Вскоре начались жестокие истязания чиновникам и богатым людям, чтобы вынудить их к отдаче денег в казну Ли-дзы-чэна.

Один из провинциальных правителей, У-сань-гуй, остался верен делу Минской династии. Видя невозможность собственными силами противиться мятежникам, овладевшим столицею, он обратился за помощью к манджурам. Ли-дзы-чэн сам пошел против него из Пекина с огромными силами и победил отряд У-сань-гуя; но манджуры уже приближались, соединились с У-сань-гуюем, и началась решительная битва. Сильный отряд

маньчжуров, ударив на правый фланг Ли-дзы-чэна, склонил победу на сторону У-сань-гуя. Ли-дзы-чэн бежал в Пекин; маньчжуры шли по его следам. Будучи не в силах удержаться в столице, Ли-дзы-чэн зажег императорский дворец и велел своим войскам беспощадно резать всех жителей покидаемого города. Пекин с окрестностями представлял одно огненное море. Говорят, что вопли убиваемых слышались за несколько десятков верст. К счастью для пекинцев, на третий день показались в виду столицы маньчжуры; они явились спасителями жителей от неистовства грабителей и заняли город без сопротивления. Маньчжурский князь объявил себя правителем государства, послав У-сань-гуя преследовать бежавшего Ли-дзы-чэна. С этого времени начинается владычество маньчжуров в Китае.

Так быстро и легко овладели маньчжуры громадною империею, воспользовавшись внутренними раздорами, ее раздиравшими.

За рассказом о падении Минской династии в третьем томе «Трудов членов пекинской миссии» следуют статьи о соляном производстве в Китае иеромонаха Цветкова; о разведении китайского картофеля и благовонного пшена г. Гошкевича; о болеутолятельных средствах и гидротатии в Китае г. Татаринова; «Записки китайца о Нагасаки» иеромонаха Цветкова; о христианстве в Китае, несторианском памятнике VII века и о домашних обрядах китайцев его же и проч. Все они довольно кратки, кроме последней, излагающей со всеми подробностями домашние обряды китайцев, именно: обряд надевания шапки (на мальчика) и украшение головы (девушки) иглою (эти церемонии означают, что лицо, над которым они совершаются, достигло совершеннолетия), далее: брак и похороны.

Представляя в этой книжке «Современника» рассказы Гюка о Китае,<sup>2</sup> мы не будем делать извлечений из этих нравоописательных и статистических статей и заметим только, что многие из них заключают в себе сведения, не лишённые интереса. Сведения эти тем важнее, что почти все переведены из китайских книг и, следовательно, должны передавать обычаи и занятия китайцев с совершенною точностью.

**Новый опыт о богатстве народном.** *Гавриила Каменского, бывшего агента министерства финансов в Лондоне.*

*Спб. 1856*

Г. Каменский в предисловии к своей книге говорит о ней как о самостоятельном сочинении. На самом же деле его книга только неполный перевод известного сочинения Милля, как уже было замечено г. Бабстом в «Московских ведомостях» (№ 11).

**Сочинения Т. Н. Грановского. Том II. Москва. 1856<sup>1</sup>**

В этом томе, которым заключается собрание сочинений Грановского, бывших напечатанными при жизни автора, помещены критические статьи его, которые являлись первоначально в «Современнике» и других журналах, и статьи для детского чтения, которые напечатал он в «Библиотеке для воспитания». Через несколько времени мы надеемся подробнее говорить о содержании этого тома.

**Руководство к познанию действующих русских государственных, гражданских, уголовных и полицейских законов, составленное Ф. Проксуряковым. Второе издание, с изменениями и дополнениями. Спб. 1856**

По отзывам юристов, сочинение г. Проксурякова — лучшая учебная книга нашего законодательства. Этот отзыв подтверждается тем, что вскоре после первого издания, автору надобно было сделать второе. Он включил в него вновь вышедшие постановления и, кроме того, во многих местах улучшил изложение.

< ИЗ № 3 «СОВРЕМЕННОКА» >

**Стихотворения Н. Щербины. Два тома. Спб. 1857<sup>1</sup>**

Первый, очень небольшой по объему сборник стихотворений, изданный г. Щербиною, показал в нем поэта с замечательным талантом. С того времени прошло семь лет. Г. Щербина в продолжение этих лет постоянно печатал свои произведения в разных журналах. Многие из новых пьес были прекрасны, но известность г. Щербины мало возвышалась до последнего времени, когда начали появляться его «Ямбы»<sup>2</sup>. Благородная мысль, одушевлявшая эти пьесы, живо вызывала сочувствие каждого порядочного человека. Но если мы подумаем о том, какое громкое одобрение заслужили пьесы с современным содержанием г. Бенедиктова, то не можем скрыть от себя, что поэт с таким талантом, как г. Щербина, касаясь живых идей, должен был бы возбудить гораздо больший восторг, — не можем защититься от мысли, что «Ямбы» г. Щербины, хотя и не были бессильны, но не производили того действия, какого должно было бы ожидать от пьес подобного содержания, писанных человеком истинно даровитым, каким не возможно не признавать г. Щербину.

Г. Щербина видит и, мы уверены, оценит прямо, с которою мы говорим о его стихотворениях. Если бы мы не были убеждены в силах его таланта, не были уверены, что, при более верном

употреблении своих сил, талант его не может явиться публике в блеске, несравненно более высоком, — если б мы не были уверены в этом, мы не коснулись бы щекотливого вопроса, нами поставленного на вид. Мы просто сказали бы, что г. Щербина — «один из самых лучших наших поэтов в настоящее время», что «его прекрасный талант отличается такими-то и такими-то превосходными достоинствами», что «хотя, конечно, и у него, как у всякого другого есть произведения слабые» (о чем упомянули бы только слегка, для формы), но что «такие-то и такие-то пьесы у него истинно очаровательны своею прелестью, а такие-то и такие-то очень замечательны своею благородною энергиею», — наговорили бы множество похвал этим прекрасным пьесам, — и тем кончили бы наш отзыв. О недостатках пьес ничего или почти ничего; о достоинствах — много, очень много. Так мы поступили бы, если б дело шло о таланте обыкновенном, который пусть себе развивается, как случилось, от которого нельзя ожидать ничего лучшего, нежели те прекрасные пьесы, которые он уже дал нам. Но талант г. Щербины — это дело совершенно другое. Вопрос о нем довольно важен для того, чтобы отбросить в сторону всякую щекотливость и высказать не только то, что приятно, но и все, что нужно высказать. Такие таланты являются не каждый день. Если такой талант не сделает всего, что может сделать, это будет уже потерей для литературы. Тут дело важнее всяких личных отношений.

Мы прямо поставили вопрос о несоответствии известности, которую доставили г. Щербине напечатанные им до сих пор произведения, с силами его таланта. И так же прямо отвечаем: это несоответствие происходит оттого, что г. Щербина до сих пор еще не нашел верного употребления для сил своего таланта; он все еще стесняет себя или принужденностью форм, или принужденностью тона, боясь отдаться естественному влечению своего таланта.

Он начал стихотворениями, которые сам назвал «греческими» и которые всего лучше можно охарактеризовать, сказав, что они очень близки по духу, а часто и по достоинству формы, к стихотворениям Шенье. Мы не знаем, насколько участвовало в их происхождении влияние Шенье, насколько личная симпатия автора к античному миру, насколько разные другие влияния или сочувствия. Если бы талант г. Щербины по натуре своей мог удовлетвориться этим родом поэзии, мы ничего не сказали бы против того, но увидели бы только, что в этом случае каприз природы произвел среди нас человека, который говорит прекрасно, но говорит не нашим языком, которого мы можем понимать, но не иначе, как при помощи ученых соображений и искусственно возбужденного настроения мыслей. Но не все так думают. Для многих именно то и кажется поэзиею, что удалено от нашей обыкновенной жизни, что понимается только посред-

ством особенного напряжения мысли. Люди, увлеченные этим предрассудком, сделали два предположения: во-первых, что так называемая античная форма есть высочайшее совершенство искусства; во-вторых, что г. Щербина по натуре своего таланта не может быть не чем иным, как поэтом античной формы.

Не знаем, сам ли г. Щербина проникся таким понятием о сущности своего таланта и о достоинствах античной формы, или это предубеждение было навеяно на него толками, которые поднялись в этом смысле после появления его «Греческих стихотворений», но только после издания своих «Греческих стихотворений» он долго поступал так, как будто убежден был, что вообще поэт будет делать прекрасно, если станет держаться античной формы, а ему, г. Щербине, решительно необходимо держаться этой формы. Он все писал в том же духе, в той же манере, как были написаны его «Греческие стихотворения».

Мы не знаем, собственно ошибкою или чужою виною увлечен был он в эту односторонность, но дело в том, что эта односторонняя манера скоро оказалась искусственною и натянутою. Мы видим что, по собственному ли влечению, или под влиянием Шенье, но во всяком случае первые греческие стихотворения г. Щербины были написаны без натяжки, без насилования таланта, — в такой форме сами собою рождались поэтические идеи фантазиею поэта, — а у поэта этого есть сильный талант, — поэтому эти пьесы и вышли хороши, как выходит хорошо все, что пишет человек с талантом, не насилуя свой талант. Форма была тесна, но что ж за беда, если поэт еще не чувствовал себя стесненным в ней?

Если бы г. Щербина мог остаться навсегда, по свободному влечению, верным античной форме, его стихотворения никогда не приобрели бы большого значения в литературе, хотя сами по себе могли быть прекрасны.

Это, однако, продолжалось очень не много времени. Скоро г. Щербина исчерпал содержание, какое естественно представляется соединенным с античною манерою, — и все-таки продолжал, по теории, писать в античной форме, — стихотворения его стали казаться уже повторениями прежних; идеи и образы, сами собою являвшиеся его воображению в этой форме, были истощены, — он начал придумывать их — пьесы стали иметь характер искусственности, талант являлся стесненным, произведения натянутыми.

Если б он остановился на этом, мы сказали бы, что его талант болезненно остановился на первой ступени развития и потерял способность идти вперед. Но через несколько времени г. Щербина перенес любовь свою от стихотворений античного содержания к пьесам, в которых идея принадлежит или вообще новому миру, каковы «Песни о природе», или даже именно нашему обществу, каковы «Ямбы». Но долгая привычка писать

в античной манере не могла быть покинута сразу, — и форма очень многих из этих пьес не соответствовала идее. В других, покинув, повидимому, античную форму, он еще не оторвался от привычки, приобретенной вследствие искусственных приемов, посредством которых писались его позднейшие античные пьесы, — и в форме заметна придуманность, ухищренность; а часто его мысль остается отвлеченною мыслью, потому что фантазия автора, от долгой привычки иметь дело только с античными образами, не находит еще образов, которые были бы живым воплощением новых идей, вошедших в его ум, или потому, что автор все еще не решается сойти с треножника пифии и заговорить простым языком, свойственным поэзии нашего времени. Он по старой привычке все еще стесняется мыслью о живописности и величественности поз; он еще не привык чувствовать себя как дома в нашем мире, хотя античный мир уже наскучил ему. Держитесь непринужденнее, говорите проще, забудьте о стеснительных претензиях на величие, не стыдитесь являться просто человеком, а не олимпийцем, скажем мы ему.

До сих пор г. Щербина не решился еще предаться безвозвратно, без оглядок на древний мир, влечению жизни и таланта. Он давно почувствовал, что в Петербурге или Москве неудобно и холодно носить хитон афинянина и нельзя довольствоваться созерцанием звезд, лежа на роскошной зелени, — во-первых, роскошной зелени у нас нет, во-вторых, если остаться на целую ночь на открытом воздухе, да еще лежа на траве, то поутру непременно почувствуешь ревматизм в боку. Г. Щербина заметил это и вошел в наши северные комнаты с двойными рамами, но он все еще не привык непринужденно говорить о сапогах и двойных рамах, его все еще смущает мысль, что это предметы не совсем благородные сравнительно с сандалиями и перистилем, — об исключительно изящных предметах он, наконец, перестал говорить, но еще не заговорил о неизящных, потому-то мысль в его «Ямбах» остается отвлеченною мыслью.

Не для того, чтобы в самом деле нужны были доказательства (вероятно, каждый читатель, думавший о стихотворениях г. Щербины, давно уже сам замечал то же самое, что говорили мы), но чтобы нас нельзя было упрекнуть в бездоказательности, мы представим хотя по одному примеру тех ошибок, в которые вовлекла г. Щербину ошибочная теория, заставлявшая его держаться античной формы после того, как образы, ею непринужденно рождаемые, были истощены и талант начал увлекать поэта к другим сферам поэтических идей.

Мы говорили об искусственности, изысканности, которая явилась в его античных стихотворениях, когда истощились античные идеи и образы, непринужденно возникавшие в фантазии автора, — примером этого пусть служит пьеса «Волосы

Береники». «Береника, жена Птолемея-Эвергета, отправлявшегося в Азию для завоеваний (объясняет автор в примечании), дала обет богам отрезать свои волосы им в жертву, если муж ее возвратится победителем, — что и исполнилось. Волосы были положены в храм Венеры-Зефириты; но жрецы сказали, что они исчезли ночью из храма, и Конон, знаменитый александрийский астроном, вероятно по наущению жрецов, объявил, что открытое им в это время новое созвездие — *волосы Береники*, превращенные богами в звезды, подобно венку Ариадны». В этом рассказе есть поэтические моменты: грусть любящей жены, отпускающей мужа на войну, — тоска разлуки, мучительность опасений за его жизнь, — готовность жертвовать всем, даже лучшим блеском своей красоты, для счастья и безопасности любимого человека, наконец, апогеиза этой любви, дающей человеческому существу высочайшую красоту. Но в этих чувствах и ситуациях нет ничего специально античного, — они общи всем народам и векам, в том числе и европейцам и нашему веку, а г. Щербине нужны специально античные образы и мотивы, — и вот он придумывает следующие мотивы:

Речь веду я со звездами,  
Говорю свои им сны  
И люблюсь волосами  
Эвергетовой жены.

И они с небес запели  
Песню жалобы своей;  
Их мелодии летели  
С неба золотом лучей:

Возлиянья и обеты  
От земли несутся к нам,  
Мы величим одеты,  
Жены, девы и поэты  
Причисляют нас к богам.

Нам в эфире неотрадно  
Семизвездием сиять,  
Где сияет Ариадна,  
Упиваться славой жадно,  
Фимиамы обонять.

С головы холодной сталью  
Мы, как жертва, снесены.  
Береникиной печалью  
И такой безмерной далью  
От нее отдалены... и т. д.

Как могла притти поэту мысль заставить нас слушать жалобы посредством «золота лучей», воспеваемые отрезанными волосами? Не гораздо ли проще было заставить женщину плакать о своих утраченных волосах? Но это была бы такая ситуация, которая может случиться везде и всегда, не в одном

античном мире, а г. Щербине нужно было взглянуть на предмет не так, как смотрят на него в новом мире, и, вместо плача женщины о волосах, он придумал плач волос о женщине. Итак, волоса Береники плачут о ней, жалуется на нее; положим, пусть они плачут, хотя это и неправдоподобно; послушаем, однако, в чем они винят ее? вероятно, просто в том, что она не пожаледа свои прекрасные кудри, — винят в безжалостности к самой себе? Нет, в преступлении перед искусством: «Прежде, говорят кудри,

Наполнялась вся палата  
Благовонием от нас,  
Оттеняли мы когда-то,  
Лоснясь маслом аромата,  
Снег чела и краски (?) глаз.

Но преступною женою  
Пред искусством стала ты,  
Разлучая нас с собою  
И разбив своей рукою  
Стройность женской красоты», —

ради античного воззрения, вместо живой женщины, которая делает огорчение себе, является уже статуя, которую разбить — значит сделать преступление не пред идеею человека, даже не пред богинею красоты, а просто перед отвлеченным понятием искусства. Преклони богов мольбами, говорят Беренике волоса, чтобы они возвратили нас на твою голову, — зачем же это нужно? Затем ли, чтобы ей была возвращена прежняя красота, или чтобы волоса перестали грустить? Нет, опять выдумка: волоса Береники должны быть взяты с неба, чтобы не разлучать на небе два созвездия, которые питают любовь друг к другу:

Преклони ж богов слезами,  
Даром жертвы дорогой,  
Чтоб с падающими звездами  
Мы скатились волосами  
Над твоею головой;

Чтобы мы не разделяли  
В небе любящих друзей;  
Чтоб как прежде заблестали  
И светить бы рядом стали  
Орион и Водолей.

Да почему же мы знаем, что Орион и Водолей — любящие друзья? О их дружбе даже и мифология ничего не говорит. На такую тему, на такие мотивы написано стихотворение в 102 стиха.

Мы привели пример натянутости, в которую впадал господин Щербина, отыскивая античные темы и придумывая античные мотивы, когда уже истощился запас, естественно представившийся его фантазии сферою идей античной манеры. Теперь



приведем пример того, как вложенная античною теориею привычка уничтожала соответствие между идеею и формою, когда он, утомившись античными темами, начал изображать явления более близкой к нам действительности.

Вот его «Нимфа вьюги» — каким же образом *нимфа вьюги*? были нимфы цветущих, благоухающих полей, сладко шепчущих ручейков, светлых речек, текущих среди бархатных лугов; испещренных яркими цветами, под задумчиво уютною, сладострастно густою тенью розовых и миртовых кустарников; но как можно вообразить себе это нежное, живущее солнцем и цветами существо среди громадных сугробов снежной степи, во время вьюги? Бедная нимфа, она так легко одета, что смертельно простудится, если вздумает явиться среди такой обстановки, когда и у старой ведьмы в овчинном тулупе стучат зубы во время сатанинской пляски! Но, — говорит г. Щербина, —

Но классические грезы,  
Грезы вечные людей!  
Вас питают и морозы  
Бедной родины моей;  
Вам такая же подруга,  
Как аттическая ночь,  
Наша северная вьюга —  
Дочь Гекаты, мрака дочь.

Еду я... передо мною  
Нимфа вьюги восстает  
И над снежной пеленою  
Все кружится, да поет,

(Нет, во время вьюги даже переносливая к холоду ведьма может только завывать, — голос дрожит от мороза.)

А когда сквозь прах сыпучий,  
Сквозь лохмотья белых туч  
На покров полей зыбучий  
Бросит месяц бледный луч, —  
Белораморной рукою

(Нет, у ней ручка уж давно посинела от холода, — мы боимся даже, не отмерзла ли.)

Нимфа вдаль меня манит

(Ну, это уж напрасный труд; не только нимфа какая-нибудь, — сама Венера Анадиомена не выманит меня из плотно застегнутой фартуком кибитки во время вьюги.)

И хохочет надо мною,  
И рыдает, и грозит...  
То меня охватит страстно,  
Током бури обовьет, —  
И, бесчувственно-прекрасна,  
В пляске с вихрем отойдет...  
Но развеет шаловливо  
Ветер тунику у ней, —

Нимфа спрячется стыдливо  
В волны снежные полей...  
Но, глядишь, на волке смело  
Нимфа скачет предо мной  
И его по шерсти белой  
Гладит ласковой рукой.

(Лев благородный, великодушный властитель лесов, смирялся перед красотой; но злобный волк только и смотрит, как бы схватить за горло; притом же он безобразен, отвратителен; нимфе должно быть и неприятно и опасно даже издалека видеть волка, — сесть на него она не решится, это верно.)

И улыбка открывает  
Ряд роскошных жемчугов,  
Волшебством ее сзывает  
Хор полуночных духов и т. д.

Античный образ нимфы, олицетворяющий вьюгу существом грациозным, нежным, прелестным, совершенно разрушает всякое соответствие между сущностью изображаемого явления и его изображением.

Вот другой пример раздора, вносимого античным представлением в создание, по идее принадлежащее нашему миру, — эта пьеса не велика и потому выписываем ее вполне:

#### ПОЭТ

На служение мысли высокой,  
На служение правде я взрос;  
Но кинжал ее спрятал глубоко  
Между веткою миртов и роз...

И, в руке с этой веткой душистой,  
Как Гармодий я в мир выхожу, —  
Красотой ее мирной и чистой  
Я неправду и зло поражу.

Эта битва без крови и гнева, —  
Наслаждением дышит она:  
Ей причастны и старец, и дева,  
И младенец, и муж, и жена.

Тем велико твое назначенье  
Между братьев, поэт гражданин,  
Что без терний свое поученье  
Насадить ты способен один.

И ты каждое дело и чувство  
Обреки на добро и осмысль...  
Твоя ветка — создание искусства,  
А кинжал твой — правдивая мысль.

Обратите внимание на две первые строфы, — какой стройный и точный образ! Но античная манера требует невозмутимости духа, олимпийского спокойствия в самой борьбе (то есть

по нашему обычному понятию об античности; по греческой мифологии не так, — там и самые олимпийцы страдают, вопиют от ран и боятся Стикса; но ведь мы имеем дело не с истинным греческим миром, а с обыкновенными современными понятиями об античности), — античность требует невозмутимости, отвращается от наносимых и претерпеваемых страданий, — и вот в угоду этой теории, г. Щербина прибавляет, что битва поэта с неправдою должна быть «без крови и гнева» и по учению его «без терний», — забывая, что даже на ветке роз, [которую прикрыт его кинжал], есть шипы, иначе сказать, терния, которые все-таки оцарапают до крови и рассердят, если он станет «поражать» этою веткою, — [не говорим уже о кинжале, который у Гармония не остался без дела (как известно из истории), хотя и был прикрыт миртами и розами].

Поэт, по античной теории, должен быть невозмутимо спокоен в своем служении искусству, — он смотрит на землю с высоты Олимпа, поэтому-то, в пьесе о волосах Береники, г. Щербина и говорит, что поэт должен, лежа на траве у потока, созерцать небо, не касаясь земных треволнений:

Я лежу ночной порою  
У потока на траве,  
Весь очами и душою  
В лучезарной синеве.

Я на лоне мирной страсти,  
Мысли сердца полон я;  
Красоте в объятья власти  
Отдана душа моя:

Вижу яркий образ всюду  
И прекрасные черты...  
И всегда поэтом буду  
Я любви и красоты!

Вам, художники другие,  
Горе дня и ложь людей,  
Вам, мечтания больные,  
Стон и жалобы страстей!

То моя отвергла лира,  
Что проходит с каждым днем,  
Что изгонится из мира  
Вечной правды торжеством...

Верьте, молча я страдаю  
И больней страдаю вас,  
Сокрушаюсь, наблюдаю  
Каждой жизни вашей час:

Но того, что не достойно,  
Я искусству не даю  
И в душе горячей знойной  
Зло без образов таю.

Речь веду я с небесами,  
Говорю свои им сны  
И люблюсь волосами  
Эвергетовой жены... и т. д.

Мы уж заметили, что выбор предмета, которым любовался г. Щербина, неудачен. Но теперь не о том дело, — мы уже объяснили, как умели, неудачность результатов, до которых доводила г. Щербину теория античности. Надобно теперь заметить, что если он очень долго держался ее, то, наперекор влечению своего таланта, насилуя свои мысли, — античность давно уж не удовлетворяла его, и напрасно усиливался он в 1853 году (год, которым отмечена пьеса «Волосы Береники») запрещать своей лире «песни о том, что проходит с каждым днем, что изгонится из мира торжеством правды», — он давно уж не мог удержаться от того, чтобы говорить о «страданиях и горе», которые, по теории, гордо признавал «предметами, недостойными искусства», — большая часть «ямбов», карающих зло, написана им до 1853 года, иные и в 1853 году, — следовательно, давно уж он отступил и в то самое время отступал на деле от своей антично-беспристрастной теории, когда так гордо и упорно провозглашал ее.

Но теоретические ошибки, когда теория так упорна и горда, как была античная теория у г. Щербины, не проходили даром. Пусть практика тайком изменяет теории, — теория все-таки наложит на нее свою печать. Печать эта видна на «Ямбах» г. Щербины.

Его фантазия по требованию теории отвергала всякие образы, кроме невозмутимо прекрасных, античных картин, — он, как человек, «страдал и сокрушался, наблюдая жизнь», — мы верим ему, что он страдал и о скорбях людей «больнее» многих других поэтов, но как поэт он насильно изгонял образы, которые могли бы быть поэтическим воплощением этой человеческой скорби, — он, не будучи в состоянии изгнать из сердца скорбной мысли, в угоду теории старался по крайней мере отнимать у нее поэтическое воплощение; «я в душе зло без образов таю», говорил он, — это и отразилось на его «Ямбах».

Мысль каждого ямба — благородна, жива, современна; но она остается отвлеченною мыслью, не воплощаясь в поэтическом образе, — она остается холодною сентенциею (это не противно античной теории, — нет: античная теория любит сентенции, — свидетельством тому бесчисленное множество изречений и отвлеченных размышлений, написанных новейшими поэтами в древнем элегическом размере, и похвалы, которыми осыпались эти перемешанные с пентаметрами гекзаметры), она остается вне области поэзии, как то и усиливался сделать поэт, по его собственному признанию.

Мы приведем пример этой отвлеченности, этого чуждого поэзии отсутствия живых образов, которыми бы воплощалась мысль:

## ЖЕЛАНИЕ

Чуждо совершенства  
Нашей жизни зданье;  
Цель ее — блаженство,  
А она — страданье.

Все в ней пропадает,  
Все, что так прекрасно:  
Только зло всплывает  
В наготе ужасной.

В этом звучном море  
Сродного нет звука;  
В сон исходит горе,  
Страсти вторит мука.

Счастьем не согрета  
Ни одна минута,  
Мысли нет привета,  
Чувству нет приюта...

Пусть же хрупкой чашей  
Эта ложь прольется:  
Хаос жизни нашей  
В вечность разовьется.

Поэзия требует воплощения идеи в событии, картине, нравственной ситуации, каком бы то ни было факте психической или общественной, материальной или нравственной жизни. В пьесах, нами выписанных, этого нет: идея остается отвлеченною мыслью, потому остается холодною, неопределенною, чуждою поэтического пафоса...

Мы так много и так прямо говорили о недостатках, которыми вообще страдала поэзия г. Щербины, отчасти уже и в «Греческих стихотворениях», но гораздо больше в последующие годы, что — чего доброго — иному может показаться, будто мы находим особенное удовольствие в анализировании этих слабых сторон. Что сказать на такое предположение? Да, пожалуй, мы нашли бы не только удовольствие, но и положительную заслугу в этой строгости, если бы г. Щербина согласился в справедливости наших замечаний, — тогда, решительно отбросив теорию, его запутывавшую, и предавшись естественному влечению своего таланта, он дал бы русской литературе произведения, которые поставили бы его на ряду с первыми нашими поэтами. Если ж он не оправдает нашей требовательности полным и вернейшим употреблением сил своего таланта (требовательность уместна только относительно человека сильного), мы, конечно, будем раскаиваться в нашей строгости, как в деле, которое не достигло своей цели, осталось бесполезно. Во всяком случае мы обязаны представить доказательства тому, что имеем право многого ожидать от замечательных сил его таланта, если

он решится совершенно отбросить ошибочную теорию, до сих пор сковывавшую силы его. Нам случалось слышать сомнение в том, сохранилась ли сила и свежесть этого таланта после «Греческих стихотворений». Чтобы уничтожить всякое колебание в ответе на это, мы в доказательство силы таланта г. Щербины приводим только такие пьесы, которые писаны после 1850 года.

#### ДЕВУШКА У ХАРОНА

*Новогреческая песнь*

— Хорошо вам, горы, счастье вам, долины:  
Вы себе живете без тоски-кручины!  
Вечно вы цветете, нет для вас Харона!  
Как и вы, цвела я, роза Киферона,  
Любовалась также утренней зарею,  
И меня скосила смерть своей косою...  
Без меня на свете все живет и дышит,  
И меня не знает, и меня не слышит!  
Там зазеленело божией весною,  
И луга запахли молодой травой;  
Ярко запестрели все поля цветами,  
И холмы покрылись белыми стадами;

В густоте дубравы, солнцем не палимой,  
Паликар гуляет с девушкой любимой,  
И, целуя жадно ей уста и плечи,  
Говорит он милой золотые речи;  
Мать красивой дочке расточает ласки,  
Бабушка-старушка рассказывает сказки...  
О, когда бы можно, вечно бы жила я,  
Как ребенок с куклой, с жизнью играя.  
Если б наши клефты в ад сюда попали,  
Верно б и с Хароном в битве совладали;  
Жалобною речью я б их ублажила  
И, ласкаясь к храбрым, так бы говорила:

«Я в жилище смерти выплакала очи,  
В холоде могильном, средь подземной ночи.  
Здесь темно и тесно... Зренье просит света.  
Сердца просит ласки, а душа — привета...  
Клефты-паликары! убегу я с вами  
В край, где льется воздух светлыми струями,  
Где раздолье жизни, где толпятся люди,  
Где любить приволье лебединой груди;  
Я хочу утешить мать мою в печали,  
Я хочу, чтоб сестры слез не проливали,  
Чтоб не горевали неутешно братья,  
И свою Зоицу приняли б в объятья...»

«Не крушись, Зоица, по родным напрасно:  
Им живется сладко, весело и ясно!..  
На земле, подруга, все тебя забыло!  
(Так, вошедши, Деспа к ней заговорила.)  
От людей к Харону нынче отошла я,  
И тебя лишь годом дольше прожила я...  
Видалась недавно я с твоей роднею:

Все они довольны, счастливы судьбою...  
Братья, — да и сестры, позабыв печали,  
У соседа Ламбро на пиру плясали,  
Бабушка болтала под окном с кумою  
И своей хвалилась давней стариною;  
Мать все хлопотала о невесте сыну:  
О тебе ж, бедняжка, не было помину!»

#### ПРОСЬБА ВЕСНЫ

На прощанье певцу говорила,  
Отлетая надолго, весна:  
«О поэт мой, тебя я любила,  
Я была н тепла и ясна.

Расстаюся я с милой землею,  
Мне так долго ее не лобзать,  
Не лелеять своей теплотою,  
И цветущих красот полнотою  
Мне ее головы не венчать!

Покидаю я женщин прекрасных  
И ласкаемых мною детей,  
Для ночей безрассветно-ненастных,  
Для холодных, бессолнечных дней...

И не будут, роскошными снами  
Упиваясь блаженно, они  
Пробуждаться и спать с соловьями...  
Покидаю я их сиротами...  
Замени им меня, замени!

Разлучаться мне горько с землею...  
Но, поэт мой, я в сердце твоём  
Неразлучной живу красотой,  
И твоим пламенею стихом;

Я оставлю в нем звуки и краски,  
И мой свет, и мою теплоту,  
Ветерка перелетные ласки,  
И потоков журчащие сказки,  
И луной разлитую мечту.

Как померкнет сиянье лазури,  
Как поблекнут без жизни поля,  
Да завоют холодные бури,  
Да оденется в саван земля,

Мой избранник, людей утешая,  
Возроди меня в песнях своих,  
Чтоб пред ними опять расцвела я,  
Благовонна, свежа, молодая,  
В трепетаньи стихов золотых...

Но, весеннее счастье зимою  
Разливая меж братьев людей,  
Надели им возлюбленных мною  
Всех обильнее, жен и детей;

Чтоб я в песне твоей зеленела,  
Согревая озябнувший лес,  
На снегах бы цветами пестрела,  
Наливалась в колосья и зрела  
И сияла бы с зимних небес;

Чтобы все, забывая морозы,  
Погрузились в знакомые сны,  
В ароматные майские грезы,  
В обаянье волшебной весны...

И под власть твоего вдохновенья  
Все отдастся, поэт-чародей,  
И, внимая словам песнопенья,  
От земли моего удаленья  
Не заметит никто из людей.

Им прольюся я полною чашей  
Из искусных художника рук,  
Им я буду и лучше и краше,  
Облеченная в образ и звук».

#### ЗЕМЛЯ

Ты помнишь ли случай, родная?  
Когда я ребенком была,  
В саду, меж цветами летая,  
Меня укусила пчела.

Как палец мне жало палило,  
И слезы ручьями текли, —  
На палец ты мне положила  
Щепотку холодной земли...

И боль оттого унялася,  
И радостно видела ты,  
Как я побежала, резвяся,  
За бабочкой пестрой в кусты...

Пора наступила иная,  
И боль загорелася вновь...  
Боюсь я признаться, родная,  
Что сердце мне жалит любовь!

Но тем же и этой порою  
Ты можешь меня исцелить:  
Холодной могильной землею —  
Навеки мне сердце покрыть...

#### NOTTURNO

На меня из цветущего сада  
Освежительно веет прохлада;  
Ароматы несутся в окно,  
В небесах и светло и темно.  
Многозвездная ночь окаймил  
Отливным серебром дерева,



На озерах горит синева,  
И так страстно ночные светила  
На красавицу-землю глядят,  
Будто пасть ей в объятья хотят.  
Опускаясь, вздымаются воды:  
Они кажутся грудью природы,  
И биение сердца ее  
Будто слушает ухо мое.  
Ко всему во мне дышит сострастье,  
И похожее что-то на счастье  
И на жизнь пронеслось надо мной...  
Я расцвел первобытной весной.

О, давно позабытая мною,  
Ты меня позабыла давно!  
Но нежданно мне этой порою  
Твое имя призвать суждено,  
И спросить тебя с прежнею страстью:  
Что в душе у тебя в этот час?  
Хоть мгновенному веришь ли счастью,  
Что навеки умчалось от нас?  
И полна ль твоя жизнь благодатью,  
Иль хоть тихим забвеньем полна,  
Или все предала ты проклятью,  
Чем тебя чаровала она?  
Пламенеет ли взор твой порою,  
И цветет ли румянец былой?..  
О, скажи мне, мой друг, что с тобою,  
И душой угадай, что со мной!..

Но от милой не слышно ответа,  
Все вокруг равнодушно молчит;  
На привет не дают мне привета:  
Голос милой моей не звучит.  
Об участьи молящие очи  
Я, к светилам торжественной ночи  
Простодушным младенцем вознес,  
Но, в потоке молений и слез,  
Я участья к себе не заметил:  
Было прекрасно, но холодно светел  
Обаятельный воздух ночной,  
Без созвучья с моею душой...  
Я хотел, чтоб суровые бури  
Помрачили сиянье лазури  
И в гармонию, тьмой и борьбой,  
Чтоб природа слилася со мной.

Такие вещи может писать только человек с истинным и сильным талантом, — и в том, что г. Щербина обладает талантом, никогда не сомневался никто из людей, внимательно изучавших его произведения. Во многих из его пьес были заметны ошибки, внушаемые ошибочною теориею; часто было видно, что его фантазия увлечена к ложным, натянутым целям; но сильный талант был виден всегда.

Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Г. Щербина, занимающий и ныне почетное место между поэтами, должен стать

гораздо выше, когда решится дать простор своим живым влечениям, совершенно отбросив насилование таланта ради теоретических предубеждений. Он начал стихотворениями в античном роде, — этот род наименее способен возбуждать живую симпатию современного мира, но, к несчастью, многие так называемые ценители искусства, — понимающие под искусством искусственность, — очень дорожат античною манерою отчасти за то, что она трудна, отчасти за то, что она чаще всего бывает искусственна. Несмотря на несимпатичность манеры, господствовавшей в первых стихотворениях г. Щербины, они были приняты с громким одобрением, потому что непринужденно возникли из фантазии поэта; вследствие субъективных условий развития она была переполнена античными образами, — «от избытка сердца должны говорить уста», и г. Щербина был прав перед своим талантом.

Любители и ценители искусственности истолковали успех г. Щербины таким образом: не потому он имеет успех, что он человек с талантом, не насилюющий своего таланта, а потому, что он пишет в античной манере, которая восхитительнее всех других манер; итак, пусть он, во что бы то ни стало, вечно продолжает писать в античной манере. Сам г. Щербина увлекся этим ошибочным соображением.

Мы видели следствия этой теории, заставлявшей г. Щербину, наперекор новым влечениям своего таланта, все облекать одеждою античности, — это значило «вливать новое вино в старый мех», и новое вино разрывало старый мех, и то и другое, — вино и мех, — погибало. Он насиловал свой талант.

Но «вольному воля», а поэт по преимуществу должен быть волен. Уста его должны говорить о том, чем переполнено его сердце. Мы видели, куда влечется г. Щербина новою склонностью своего таланта, — к современной жизни. Пусть же безбоязненно он погрузится в нее. Пусть он пишет античные стихотворения только тогда, когда именно к античному миру обращается его талант, — в другое время, в минуты других настроений, пусть его перо забывает об античности, как забывает сердце, пусть он дает своей мысли свободно облекаться в образы, рождаемые ее сущностью, не втискивая ее насильно в чуждые ей рамки.

Автономия — верховный закон искусства. Если он будет соблюдать этот верховный закон поэзии, — «храни свободу своего таланта, поэт», — что тогда будет он писать? Пока не изменится господствующее теперь стремление его таланта, он будет писать проникнутые жгучим сарказмом укоры людям. Но если бы расположение духа, которое, кажется нам, должно вести к подобным произведениям, миновалось в г. Щербине, — что тогда? — тогда все-таки пусть пишет он в таком роде, к какому влечет его талант в данное время, хотя бы то была поэзия ра-

дости, примирения, — кто имеет право требовать от поэта, чтобы он насилывал свой талант? Можно требовать только того, чтоб он старался развить себя, как человека. Это развитие человека в поэте составляет великое преимущество г. Щербины перед многими; он не может не быть гуманен, не может не сочувствовать живым вопросам современности, в какой форме, в каком направлении найдет удовлетворение себе талант поэта, который стал человеком, — должно быть решаемо жизнью самого поэта. Пусть только он блюдет свободу своего таланта от всяких насилований; пусть всею фантазиею своею предается тому, чем переполняет жизнь душу его: от избытка сердца должны говорить уста поэта, особенно поэта, одаренного столь прекрасным талантом и столь живою натурою, как г. Щербина.

**История Сербии по сербским источникам. Сочинение Леопольда Ранке. Перевод с немецкого Петра Бартенева. С приложением портрета Черного Георгия и картой Княжества сербского. Москва. 1857**

Сербы, вместе с болгарами, ближайšie к нам по родству из всех славянских единоплеменников наших, должны возбуждать в нас самое живое сочувствие. И, однако же, на русском языке до сих пор не было ни одного порядочного сочинения о Сербии. «Желание хотя сколько-нибудь восполнить такой существенный недостаток в русской словесности» побудило г. Бартенева «издать в русском переводе книгу о Сербии одного из славных современных историографов, берлинского профессора Леопольда Ранке». Этот труд г. Бартенева заслуживает всякой признательности: перевесть хорошее сочинение — гораздо полезнее, нежели перепечатать в одну книгу из разных общедоступных изданий документы, не принадлежащие к числу важнейших для истории<sup>1</sup>. Выбор сочинения для перевода сделан очень удачно. Г. Бартенев совершенно справедливо говорит, что «кроме занимательного изложения, книга Ранке отличается из всех иностранных сочинений о Сербии наибольшею точностью». Она составлена преимущественно по рассказам знаменитого собирателя сербских песен, Вука Стефановича Караджича, который сам был один из деятельнейших участников в деле освобождения Сербии от турецкого ига, и потом участвовал в составлении сербских законов.

Под турецким владычеством очень немногие местности Сербской земли управлялись христианскими князьями (князьями, старшинами). Во всем Белградском пашалыке, главной области сербского края, и почти всех других округах деревни принадлежали спахиям, — мусульманским помещикам, которым роздана была вся завоеванная христианская земля. Спахии

получали десятину от всех произведений сельского хозяйства и подать с каждой головы скота, кроме того, собирали поголовную подать (главницу) — по два пиастра с каждой супружеской четы. В иных местах, вместо десятины и главницы, платился только оброк по десяти пиастров с супружеской четы, — и спахии были очень довольны этим obroком. [Весьма несправедливо будет сравнивать спахийев с нашим дворянским сословием. Они] «не требовали барщины и не вмешивались в судебную расправу; они не только не выгоняли самовластно своего подданного, но даже не могли переселить его в другое место. Им предоставлялось только как бы наследственное кормление, за которое они как воины были обязаны нести военную службу» (стр. 34). Они даже не жили в деревнях. Кроме того, христианское население уплачивало расходы по государственному управлению. Для этого оно обязано было сначала отправлять барщину турецкому правительству (паше), которая некогда была очень тяжела, простираясь до ста дней в году (два дня в неделю). «Но в конце прошлого столетия не было уже слышно о подобных отягощениях». Турецкие судьи (кади, зависевшие от белградского муллы) брали пошлины при переходе имущества из одних рук в другие и с тяжёлых дел.

Духовное управление принадлежало епископам, которые составлялись из греков. «Уже по самой внешней обстановке своей епископ-грек был чужд народу. Он ездил на роскошно убранной лошади, вооруженный мечом и буздованом, знаками власти», которые давались ему от султана (стр. 36).

Часто между пашами, янычарами и спахиями бывали раздоры, сила турецкого правительства тогда ослабевала, и райи (христиане) благоденствовали в эти времена. Если же кто из сербов подвергался слишком сильному притеснению, тот бежал в лес и делался гайдуком (некто в роде наших казаков XVI—XVII столетия). Гайдуки грабили турок, а иногда и своих братьев христиан.

Спахии-мусульмане были большею частью сербы по происхождению, продолжавшие говорить по-сербски, но происшедшие от людей, принявших мусульманство.

Мусульмане владычествовали, христиане повиновались. Но некоторым облегчением в судьбе христиан было то, что турки жили исключительно в городах, между тем как сербы исключительно в селах. Потому повседневных столкновений не могло быть между владыками и подчиненными.

Таково было положение дел, когда Россия и Австрия начали в 1788 году войну с Турцией. Эти державы призвали сербов к оружию. В австрийских армиях явилось много сербских волонтеров. При заключении мира Сербия оставлена была под турецким владычеством, но важно было то, что некоторое время сербские области, занятые австрийцами, пользовались свободой

от мусульманского господства и что между народом явилось много людей, привыкших поражать турок. Притеснения теперь должны были казаться сербам вдвое несноснее, нежели когда-нибудь.

А притеснения начались скоро, — не от законного турецкого правительства, не от белградского паши, — напротив, сербы называли пашу своею «матерью» (србска майка), — а от янычар.

Султан Селим уже задумывал уничтожить это буйное ополчение, более опасное султану и пашам, нежели врагам Турции. Янычары уже догадывались о его намерениях и открыто враждовали против многих пашей, разделявших планы султана, между прочим, и против белградского паши, который принужден был, убив главного мятежника, изгнать остальных янычар из своего пашалыка. В этом помогали ему сербы. Но константинопольский муфти принудил султана возвратить изгнанных белградских янычар в пашалык. Скоро янычары убили пашу, захватили в свои руки власть над пашалыком и начали неудержимо буйствовать над христианским населением, грабили и оскорбляли сербов — не легко пришлось от них и туркам. Буйные варвары, равно ненавидя и законное турецкое правительство и христиан, терзали страну беспощадно. Не одни христианские поселяне бежали от их притеснений, — бежали и мусульманские спахи. Депутаты ограбленных спахивей нашли себе в Константинополе покровительство у султана, который послал сказать белградским янычарам, что «если они не уймутся, то он поступит с ними, как не поступал ни с одним турком: он пошлет против них войско, но не турецкое, ибо *верному* тяжело сражаться с *верным*, а из другого народа и другой веры». Что это значит? — думали янычары: — султан не призовет же в свои владения австрийцев или русских. Верно, он говорит о сербах, — он хочет поднять их против нас. Надобно предупредить это, надобно истребить всех, кто может быть предводителем восстания. Они поехали по селам, захватывая и умерщвляя каждого серба, который известен был храбростью, умом или богатством, умерщвляя и множество [бедных] людей. «Ужас распространился по Сербии. Никто не знал, кому именно грозила смерть; но разнеслась молва, что искоренено будет все народонаселение, и потому самый последний дрожал за жизнь. По селам турки встречали одних стариков да детей; все, кто были в силах, бежали в горы, в потаенные убежища гайдуков» (стр. 89). Это было в начале 1804 года.

У несчастных беглецов было сначала только одно желание — «возвратиться в свои дома и продолжать безопасно прежнюю жизнь. Но для этого необходимо было поднять общее земское ополчение и собственными средствами положить конец наглому насилию». Повсюду начали являться толпы вооруженных сербов с целью изгнать янычар. В каждом округе был свой

предводитель. Восстание быстро разлилось повсюду, стало поголовным. Турки спаслись в укрепленные города. За исключением крепостей, вся страна была мгновенно очищена от мусульман. Сербы могли теперь соединиться, чтобы начать общими силами осаду крепостей. В каждой области был выбран народом главный предводитель. В Шумадии, центральной и самой обширной из областей, выбор пал на богатого и предприимчивого торговца, Георгия Черного, который успел уже прославиться смелыми подвигами и умом. Он стал было говорить, что неопытен в управлении. Кнезы обещали помогать ему советами. «Но ведь я жесток, — сказал он: — и у меня крутой нрав. Я не стану долго толковать, и на кого рассержусь, убью на месте». — Теперь такой нам и нужен, — отвечали кнезы. И Георгий Черный сделался «комендантом Сербии» (комендант Србие), — пока его власть ограничивалась одною Шумадиєю, но скоро все другие сербские областные предводители подчинились ему как самому даровитому и самому сильному из них.

Георгий Петрович Черный правду говорил, что на кого рассердится, убьет на месте. Песня о нем, переведенная Пушкиным<sup>2</sup>, рассказывает не выдумку. В 1787 году, по первому слуху о русско-австрийской войне с турками, он решился встать против мусульман и принужден был, с другими сообщниками, искать спасения в Австрии. Он взял с собою и отца, которого не хотел оставить на жертву туркам. Старик шел неохотно и уговаривал сына возвратиться и покориться. Беглецы приближались к реке Саве. «Лучше пойдем назад, — начал снова говорить отец: — турки простят нас». Сын не соглашался. «Ну, так иди же один, а я отправлюсь домой», — сказал старик. «Нет, — вскричал Георгий: — я не потерплю, чтоб турки тебя замучили, лучше умри теперь от моей руки!» Он выстрелил из пистолета в отца, и, видя, что старик мучится предсмертною агониею, велел одному из товарищей сократить его страдания. В ближайшей деревне он отдал поселянам стадо, которое гнал с собою, сказав: «Похороните моего старика, да выпейте за упокой его души», и переправился за Саву, в австрийские владения. Он сражался потом, как австрийский волонтер, с турками, но, рассердившись за то, что ему не дали медали, ушел к гайдукам. По заключении мира он жил в Австрии лесным сторожем; потом, услышав о кротком управлении белградского паши, воротился на родину, начал торговать свиньями (это самый выгодный промысел в Сербии) и скоро стал одним из первых сербских богачей. Когда начались неистовства янычар, он гнал на продажу в Австрию стадо свиней, — на дороге он услышал, что турки ищут его, и явился предводительствовать восставшими поселянами своей волости. Достигнув верховной власти, он не оставил своих прежних привычек и жил, как

простой поселянин. Он продолжал носить старые свои голубые штаны, истасканный полушубок и старую черную шапку, сам ездил за дровами, спускал воду на мельнице, пахал и косил и раз изломал пожалованный ему орден, набивая обруч на бочку. Дочери его сами ходили за водою. Но в битве этот поселянин был героем и выказывал таланты необыкновенного полководца.

Суровость и безмерная вспыльчивость были всегда чертами его характера. Рассердившись, он убивал своею рукою преступника или спорщика. Кнезу Теодосию он был обязан своим выбором в предводители восстания, но и его убил в порыве ярости, как убил отца. Однако, опомнившись, он плакал и говорил: «Бог судья тому, кто затеял ссору». Однажды простив врага, он уже не помнил обиды — злопамятность была чужда ему. Он хотел порядка в гражданских делах, справедливости в суде и соблюдал закон, сколько то позволял ему бешеный характер. Единственный брат, надеясь на него, воображал, что все может делать безнаказанно. Но когда Георгию пожаловались родственники девушки, обещенной этим братом, говоря, что и турок они прогнали за такие дела, Георгий велел повесить любимого брата на воротах и запретил матери плакать о нем.

Когда он являлся среди битвы, — а его легко было узнать по его высокому росту, сухощавому стану, широким плечам, большому рубцу на щеке (он хотел взять монастырскую лошадь для войны, игумен не давал ее и, в ссоре, ударил Георгия саблею по щеке, — так произошел этот рубец; нечего и говорить, что игумен был изрублен на месте), — когда он являлся среди сражающихся, унывали турки — победа считалась его спутницею.

Этот суровый воин, этот отцеубийца, изрубивший столько сербов в припадках гнева, если не был раздражен, был добродушен. Трезвый, он был угрюм. Часто он просиживал целые дни, не говоря ни слова и кусая себе ногти, и на все вопросы только покачивая головою. Но выпив, он становился разговорчивым и даже пускался плясать.

Таков был один из предводителей сербского восстания, скоро ставший властелином Сербии. Другие предводители были достойные товарищи такому вождю. Например, об одном из них, которого звали Тюрчия, рассказывают, что он, никогда не бравши ружья в руки, раз смотрел, как турки стреляют в цель. Все промахивались, — так далеко была цель. Тюрчия взял ружье, прицелился — и первой своей пулею попал в цель. С того времени, говорят, турки стали опасаться его. Другой, гайдук Велько, из-за нескольких пиастров добычи всегда готов был рисковать жизнью, но, добывши денег, тотчас же раздавал их. «Когда у меня что есть, — говорил он: — приходи всякий, я никому не откажу; а коли все выйдет, так пойду отымать у

богатых». Без войны он жить не мог. «Дай бог, чтобы сербы не мирились с турками, покамест я жив, — были его любимые слова, — а когда я умру, дай бог им жить спокойно». Своих момков (воинов, составлявших его постоянный конвой) он считал своими братьями и бросил жену за то, что она не хотела за столом прислуживать им, как прислуживала ему.

По этим образцам можно судить, каковы были люди, поднявшиеся на защиту родины от янычар. Скоро крепости пали от их натиска, и янычары были совершенно изгнаны из пределов Сербии.

Они восстали против разбойников и бунтовщиков янычар, а не против всех турок, не против султана, напротив, многие турки приходили на помощь им, султан велел боснийскому паше действовать заодно с ними, — султану было приятно усмирение янычар, с тем вместе он хотел, чтоб боснийский паша, явившись союзником, сделался начальником людей, воевавших с янычарами, и забрал в руки сербское христианское ополчение, помощь которого оказалась столь полезна, но самостоятельность которого могла сделаться еще более опасною для турецкого самовластия. Паша пришел к сербам, когда они осаждали Белград. Янычары, увидев, что имеют дело с султаном, сдались. «Теперь ваше дело кончено, цель ваша достигнута, — сказал паша сербам: — расходитесь же по домам». Сербы поняли, в чем дело, и, конечно, не разошлись, — ведь им нужно же было достичь обеспечения себя от возобновления прежних неистовств со стороны янычар, — они видели уж однажды, как изгнанные из Белграда янычары воротились и начали свирепствовать над ними необузданнее, нежели когда-нибудь. Притом же и дело очищения Сербии от янычар было еще не кончено: в разных крепостях они еще держались, да и белградская цитадель оставалась в руках Гушанц-Али, предводителя кирджалиев (отставные турецкие солдаты, отчасти нанимавшиеся в службу к пашам, отчасти промышлявшие грабежом), союзника янычар, удержавшего за собою власть наружною покорностью паше.

Надобно было сербам принять меры к обеспечению себя. Они знали, что мусульмане не считают себя обязанными соблюдать обещания, сделанные христианам, и нарушат все свои обязательства, если эти обязательства не будут поставлены под охранение сильной христианской державы. Австрия всегда возвращала туркам области, отнятые у них во время войны, — на нее они не надеялись и решились просить покровительства у России, которая недавно (1802) вытребовала гарантии для Молдавии и Валахии. В августе 1804 отправились сербские депутаты в Петербург и (в феврале 1805) воротились с благоприятным ответом: русский двор советовал им просить себе льгот у султана и обещал свое заступничество по этому делу в Константинополе.



Сербы отправили в Константинополь послов с просьбою позволить им самим, без всяких турецких войск, содержать гарнизон во всех крепостях Сербской земли, а с тем вместе положили немедленно выгнать янычар из тех крепостей, в которых они еще держались.

Сербы воображали, что султан исполнит их просьбы — они воображали себя верными воинами султана, восставшими против его врагов. Действительно, это было так: сами турки в сербских городах радовались изгнанию мятежных янычар.

Но султан прежде, нежели был государь, был мусульманин, — мусульмане не могли допустить мысли о самостоятельности христиан, бывших рабами их. Сербские спахии, изгнанные янычарами, теперь требовали возвращения своих поместьев, — то есть воображали, что сербы взялись за оружие для того, чтобы возвратить к себе изгнанных своих господ. Султан посадил под стражу приехавших в Константинополь сербских послов и велел нишскому паше Афизу (Нишский пашалык граничит с Сербиею на юго-востоке) обезоружить сербских христиан.

Один из послов, Стефан Живкович, хитростью уехал из Константинополя в Белград, сказал истину только вождям, а народу объявил, что Афизу велено взять с собою в Белград только 300 человек, а если он приведет больше, то султан не велит сербам пускать его, — народ поверил, и когда Афиз явился на границе с войском, сербы приняли его за послушника султанской воли, друга мятежных янычар, и, после жестокой битвы, прогнали назад.

После поражения второстепенного паши султан двинул на Сербию (1806) могущественных правителей, имевших огромные войска: с северо-запада наступил на Сербию боснийский визирь с 30 000 войска: с юго-востока скутарийский паша с 40 000 армиею.

Теперь сербы увидели, к своему изумлению, что имеют дело не с мятежными янычарами, а с султаном и всеми силами турецкого правительства. Многие упали духом. «Зачем вы начали войну, — говорил народ своим предводителям: — когда уверены были, что она не поведет к добру? Вы думали, будто султан за нас, а вот он теперь посылает страшную силу». Многие из вождей должны были скрыться в лесах от народного гнева за грозящую гибель. Но Георгий Черный не потерял мужества. Он пошел на боснийцев, разбил несколько отрядов их, и когда турки стянулись у Шабца, стал против них с 7 000 пехоты и 2 000 конницы и, по сербскому обычаю, окопался в лагере. Турки, слишком вдвое превосходившие их числом, потребовали от него покорности и выдачи оружия. «Придите и возьмите», — отвечали сербы. Два дня нападали турки на окопы, — и безуспешно. На третий день Георгий придумал

решительный маневр: он спокойно подпустил их к самым окопам, — без выстрела, — и вдруг, одним залпом, сербы выстрелили почти в упор, — ни одна пуля не пропала даром, тысячи врагов упали, ряды смешались, — в эту самую минуту конница сербская, ночью посланная в объезд, ударила на турок сзади, — турки бежали, и большая часть их легла на поле битвы или по лесистым дорогам, где поджидали бегущих сербы.

Между тем, на другом конце Сербии, крепостца Делиград, героически защищаемая Добринцем, остановила skutарийского пашу, и когда Георгий, разбив первого врага, обратился на него, он заговорил об мире, потому что Турции грозил уже разрыв с Россией (1806) и туркам нужно было сосредоточивать войска на востоке, в дунайских княжествах. Улемы не допустили примирения с неверными бунтовщиками, но паша skutарийский отступил, пока велись переговоры, и Георгий мог на свободе заняться покорением тех сербских крепостей, в которых еще сидели турки.

Прежде всего он приступил к Белграду, где удержался Гушанц-Али. Албанец православной веры, Конда, прежде служивший Гушанцу, перешел к своим единоверцам и доставил им Белград отважным делом. В день байрама, взяв с собою шестерых рослых и сильных сербов, он провел их через вал, мимо караулов, обошел кругом по улицам и вдруг бросился на стражу, охранявшую городские ворота, — сначала выстрелы не встревожили подгулявших турок; потому что в день байрама у них в обычае потешная стрельба, и никто не являлся на помощь страже. Она отчаянно сопротивлялась, — четверо сербов были убиты, еще один и Конда ранены, цел остался только один — но этот один успел отворить ворота и впустить сербский отряд, — турки бросились к воротам, — в это время Георгий Черный перешел в другом месте вал, оставшийся без защиты, и город был взят; Гушанц-Али скрылся в цитадель, его принудили к сдаче голодом. Турки, сдавшиеся на капитуляцию, были перерезаны. Все случаи войны за независимость прославляются песнями, но об этой резне нет песни, сербы сами стыдились ее. «Недоброе мы сделали дело и поплатимся за него», — говорили старики. Скоро были заняты все другие крепости. Ни одного турецкого воина не оставалось в Сербской земле.

Теперь и внутреннее управление приняло несколько правильный вид. Предводители восстания, конечно, сохраняли преобладающее влияние на дела; они каждую зиму около нового года съезжались на общий сейм, «скупштину», для соглашения в планах действия на следующий год. Георгий Черный обыкновенно имел решительный голос в этом собрании. Для управления гражданскими делами составлен был сенат из депутатов областей (нахий), которых считалось двенадцать. Депутатов

этих было также двенадцать, по одному из каждой нахии. Приверженцы Георгия обыкновенно имели перевес и в этом собрании. Главными агентами его в сенате были Югович и Младен, люди не совсем честные и впоследствии погубившие общее дело своими интригами.

Занятые войною с Россиею, турки на время оставили сербов в покое. Георгий Черный хотел воспользоваться этим, чтобы очистить от турок Герцеговину и Боснию (на западе от собственной Сербии), которые также имеют сербское население, и расширить таким образом границы независимой Сербии на всю северо-западную часть Турции до самого Черногория. Он выступил в поход весною 1809 года; турки бежали перед ним. Черногорцы уже спускались с своих скал навстречу ему; великая цель похода — освобождение всех сербов, соединение всех сербских пашалыков в одну независимую область, — была уже вполовину достигнута, но в это самое время дошло до него известие, что турки с страшными силами ворвались в собственную Сербию с юга-востока. Георгий сам был виноват в этой беде: прежде юго-восточную границу геройски и всегда успешно берег от турок Добриниц, но, по интригам своего клеветы Младена, Георгий отнял у него власть и передал ее Милою, приятелю Младена и также своему клевету. Милой не сумел удержать турок, и они осадили Делиград. Георгий должен был вернуться на защиту своих границ. Но русские отвлекли турецкие силы на Нижний Дунай, потом прислали отряд в помощь сербам. Таким образом, война продолжалась без потерь со стороны сербов до того времени, как в 1812 году, заключая мир с Турциею, Россия вынудила у султана для сербов самостоятельность внутреннего управления, взамен платежа определенной дани.

В это время Георгий Черный уже без всяких соперников и ограничений владычествовал в Сербии: областные воеводы были поставлены в полную зависимость от верховного вождя и от сената, в котором господствовали клеветы Георгия. Несколько лет тому назад первые попытки Георгия отеснить от участия в правительстве всех людей самостоятельных подвергали страшной опасности общее дело, когда неспособный Милой был поставлен полководцем вместо Добринца. Теперь все места были заняты клеветами Георгия; готовность интриговать в его пользу была единственною причиною их возвышения, и когда, по примирении с Россиею, Турция обратила свой силы на сербов, неспособность клеветов Георгия погубила Сербию.

Как только убедились турки, что Россия совершенно занята французскою войною, они не захотели соблюдать условий Бухарестского мира относительно Сербии. Они потребовали сдачи всех крепостей, выдачи всего оружия и боевых снарядов и воз-

вращения изгнанных из Сербии мусульман. Сербь не могли согласиться отдать себя безоружными на произвол врагов. Турки двинулись на Сербию и осадили крепость Неготин, где заперся гайдук Велько, который был в немилости у Георгия. Велько геройски защищался, но Младен, который должен был подать ему помощь, не хотел итти на выручку. «Пусть сам справляется! — говорил этот клевет Георгия: — у него на пиру по десяти гусяров воспевают его подвиги; он сам себе поможет, на то он и герой». Велько был убит, и крепость пала, и турки пошли вперед. Ничтожные воеводы, поставленные Младеном, бежали; Младен совершенно растерялся и почти не пытался противиться; без сопротивления уступал туркам и другой полководец Георгия, кнез Сима. Сам Георгий был теперь окружен уже не героями, как прежде, — героев он удалил от себя или погубил, — а раболепными интриганамн, которые трусили в минуту опасности и своими робкими советами навели уныние на самого Георгия, — турки шли вперед, он почти не пытался остановить их, явился в лагерь всего на один день и 3 октября (1813) бежал в Австрию.

Его дарования сильно помогли первому освобождению Сербии; его властолюбие, лишившее родину способных слуг, отдавшее ее под господство людей низких и ничтожных, погубило ее.

Сенаторы, воеводы, тысячи других сербов бежали в Австрию, спасаясь от мести турок. Мщение было ужасно.

Из всех воевод остался в Сербии один Милош Обренович. Он поддался туркам и обманул их своею видимою покорностью. Но когда первый ужас народа прошел, уступив место ожесточению от грабительства и казней, когда снова начали собираться недовольные, Милош явился во главе их. В 1815 году, в пятницу перед вербным воскресеньем, он выгнал турецких чиновников из своего округа и поднял оружие. Теперь уже не в первый раз было сербам выгонять турок из своей родины, — после нескольких искусных маневров и счастливых битв страна была снова освобождена.

Султан теперь не мог действовать против сербов с прежнею беспощадностью: французская война была кончена, Россия могла заступиться за православных. Он дал полномочие паше румелийскому, Марашли-Али, вступить в переговоры. С обеих сторон были сделаны уступки. Турки были допущены в Белград; верховное управление Сербиею передано было паше, но областными начальниками остались сербы; в управление Милошу дано было несколько округов; паша окружил себя советом из сербов. Теперь христиане уже не были так беззащитны, как прежде.

Милош, единственный предводитель восстания, пользовался огромным нравственным влиянием и не щадил ни хит-

ростей, ни насилия, чтобы увеличить его. Людей, которые могли быть ему соперниками, он губил беспощадно. Между прочим, он донес туркам о возвращении в Сербию Георгия Черного и, по требованию паши, послал приказание умертвить его. Так погиб от предводителя второго сербского восстания предводитель первого. Оставшись без соперников, Милош был признан всеми кнезами за верховного кнеза.

Он был агентом турецкого правительства, от которого получил на откуп казенные подати и таможи. В то же время, народное доверие ставило его главою национальной партии. Положение дел оставалось шатко, неопределенно; но сила Милоша все увеличивалась с течением времени. Наконец, в 1820 году, турецкое правительство утвердило его в сане «верховного кнеза» Сербии.

Через несколько месяцев возникли несогласия между ним и белградским пашою. Милош отказал паше в повиновении и отправил в Константинополь посольство, требуя исполнения всех условий Бухарестского мира. Послы были посажены в темницу. Милош не огорчился этим; не подчиняясь паше и не восставая против султана, он предался заботам об устройстве внутренних дел Сербии, при всех преобразованиях имея в виду расширение своей власти.

Самостоятельных кнезов он заменил своими чиновниками, и мало-помалу стал управлять со всею безграничною властью, какую имели паши. Поборы были теперь не легче, нежели при турках. В народе начался ропот, обнаруживались даже движения против самовластия Милоша, — но он легко подавлял их, потому что казался еще необходимым народу — на его личной власти основывалась независимость Сербии от турок. А турки не беспокоили его, видя в нем человека, который удерживает сербов от нового восстания.

Между тем вспыхнуло греческое восстание; христианские державы, особенно Россия, были теперь страшнее султану, нежели когда-нибудь, и, Аккерманскою конвенциею 1826, Порта вновь обязалась строго соблюдать условия Бухарестского мира относительно Сербии. Условия были истолкованы сообразно желаниям сербов. Это было великою радостью для сербов. Но до самого Адрианопольского мира турки медлили привести в исполнение свои обещания, — победы русских вынудили это, и в 1830 году обнародован был султанский хаттишериф, обеспечивающий самостоятельность Сербии.

Внешняя безопасность теперь была приобретена народом: надобно было позаботиться о внутреннем порядке, — и с этого времени начинается борьба сербов против Милоша, который имел в виду исключительно свои личные выгоды.

Он брал себе в собственность все, что ему нравилось, платя прежним владельцам покупаемого дома или луга такую цену,

какую сам хотел назначить; однажды он сжег целое предместье в Белграде, чтобы очистить место для своих предполагаемых зданий; он принуждал народ даром исполнять сельские работы на своих полях; его гонцы ничего не платили за подводы и за постой; выгоднейшую торговлю Сербии, — торговлю щетиною, он взял себе в монополию. «Разве я не властитель? — говорил он: — разве я не могу делать, что мне угодно?»

В хаттишерифе было сказано, что он будет править, советуясь с старшинами, — он не думал исполнять этого, хотя бы только формальным образом.

Общее недовольствие возросло до такой степени, что даже люди, близкие к Милошу, говорили о необходимости ограничить его произвол. О смелых речах одного из его любимцев, Милутина Петровича, донесли Милошу. Он призвал Милутина и стал упрекать его. «Не я один так думаю, — сказал Милутин: — всякий думает теперь точно так же!» — «Как всякий?» — возразил Милош. «Да, — продолжал Милутин: — даже и тот, кто стоит с тобою рядом» — то был самый верный любимец князя, старый служитель милошева дома, по имени Иосиф. Милошу еще прежде напоминали, что своими поступками он подвергает себя опасности, ибо все, решительно все, были им недовольны; но он презирал подобными предостережениями. «Правду ли говорит Милутин?» — спросил он теперь старого Иосифа. «Правду, князь, — отвечал тот: — люди говорят, что долее нельзя так жить».

«Одаренный быстрым соображением, Милош в одну минуту измерил всю опасность, всю силу врагов своих и немедленно решился оставить Сербию.

«Но его стали просить, чтоб он не спешил отъездом; ему сказали, что никто не намерен посягать ни на лицо, ни на жизнь его, ни даже самое правление, а желают только прав и обеспечения».

Между тем, вооруженные толпы народа уже сходились отовсюду в Крагуевац, чтобы требовать от него законности в правлении. Беспорядков не производили они никаких, но тем страшнее была их спокойная сила. Милош понял невозможность сопротивления и, созвав сейм (скупштину), обещал отказаться от произвольного правления (1835). Обнародован был подробный органический устав, учреждавший новый порядок дел.

Но Милошу вовсе не хотелось отказаться от произвола; он поехал в Константинополь, склонил на свою сторону султана Махмуда богатыми подарками и, возвратившись, стал действовать еще самовластнее прежнего, опираясь на объявление султана, что в Сербии князь есть «единственный властелин». Он захватил исключительное право торговать солью и вообще всем заграничным вывозом; с тем вместе, на случай изгнания, закупал себе поместья в Валахии.

Неудовольствие возрастало в Сербии; через несколько времени разными неосторожными поступками Милош восстал против себя и Порту. Тогда недовольные сербы нашли себе покровительство в Константинополе, и султан, по их внушению, издал фирман, которым законодательная власть в Сербском княжестве отделялась от исполнительной и передавалась сенату из семнадцати старшин, а исполнительная власть князя ограничивалась назначением четырех ответственных министров. Милош притворно смирился, но под рукою хотел поднять восстание в народе; это не удалось, интриги его были открыты, и люди, которых прежде гнал Милош и которые теперь торжествовали, решили, что он должен быть удален из Сербии. Главою победившей партии был Вучич. Взяв с собою вооруженных людей и вооружившись сам, он вошел в комнату Милоша и сказал ему: «Народ не хочет тебя больше; если не веришь, я позову людей, и они подтвердят тебе слова мои». — «Ну, хорошо, — отвечал Милош: — если они не хотят меня, я им не навязываюсь».

Он отправился в Австрию в сопровождении конвоя (в июне 1839). Во всю дорогу до самых австрийских границ не произнес он ни одного слова.

Князем сделался сын Милоша, Михаил Обренович. С этой поры начинается новая эпоха для внутренней истории Сербии. Законность должна еще бороться с произволом, но, вообще, уже водворяется в делах некоторый порядок.

### **Русский библиографический указатель за 1855 год. Спб. 1856.**

В настоящее время никто не сомневается в пользе библиографических указателей, и потому нельзя не быть признательным г. Ламбину, библиотекарю Академии наук, за его «Указатель», составленный с полным знанием дела. Важность «Указателя» увеличивается тем, что под многими книгами отмечены рецензии, помещенные в разных журналах.

#### **< ИЗ № 4 «СОВРЕМЕННОГО» >**

### **Стихотворения Н. Арбузова. Спб. 1856**

Очень выгодно положение того писателя, который является перед публикою, не предшествуемый толпою слишком услужливых друзей и не увенчанный преждевременными лаврами по приговору слишком самоуверенных покровителей. Книга его выходит скромно, тихо, без всяких особенных претензий, не подавая никому основания к слишком высоким ожиданиям, не пред-

ставляя повода к строгим суждениям. Непредупрежденный и непредубежденный читатель тем с большею готовностью и радостью оценит в ней все хорошее, если неожиданно найдет что-нибудь хорошее. А если и не найдет ничего такого, беда невелика для книги: не ожидая ничего особенного, читатель не имеет основания досадовать или сердиться, он спокойным, снисходительным, мягким тоном говорит: «книга так себе, если не слишком хороша, то и не слишком дурна».

Таково именно положение книги г. Арбузова. Если б он сам или кто-нибудь другой требовал, чтобы г. Арбузов был признан особенно даровитым поэтом, пришлось бы доказывать, что такое требование неосновательно. Но книга г. Арбузова явилась скромно, без всякого шума, без всяких претензий, и мы спокойно можем смотреть на нее с настоящей точки зрения, не имея нужды восставать против каких-нибудь преувеличений самолюбия или пристрастия.

Книга г. Арбузова имеет очень почтенный объем; она включает до девяноста пьес, занимающих более 400 страниц печати. Если бы г. Арбузов имел сильное дарование, оно, конечно, отразилось бы хотя на нескольких из этих многочисленных пьес и страниц; но мы нигде не заметили особенно сильного дарования, потому и заключаем, что его нет у г. Арбузова. Стих вообще у него довольно хорош, смысл речи вообще благороден, оборот речи иногда не лишен некоторой грации, и мы находим, что г. Арбузов — один из тех дилетантов поэзии, которые, не обладая особенным талантом, умеют писать иногда довольно звучные, гладкие и приятные стихи. Чтобы читатели могли видеть это, приводим две-три пьесы из тех, которые оказались нам наиболее удачны.

#### NOCTURNO

Сходят на поляны  
Тень и тишина;  
Робко сквозь туманы  
Крадется луна.

Звезды заблестали  
В бездне вышины;  
В окнах замелькали  
Мирные огни.

С сенокоса веет  
Теплый аромат;  
Ветерок не смеет  
Листьев колыхать;

Слышно лишь, как звонок  
Катится ручей,  
Да как в роще громко  
Свищет соловей;



И лежит дорога  
В сонной тишине...  
Друг мой! ради бога  
Выдь сюда ко мне!

Потуши-ка свечку,  
Уж не до труда;  
Подойди к крылечку,  
Посмотри сюда.

Ночь какая встала  
Посреди небес!  
А земля устала,  
Спит среди чудес.

Знать одно ей дело —  
Цель свершить одну:  
Накормить лишь тело  
Наше — и ко сну.

Ночь же... ночь приносит  
Пищу для души;  
Сердце громче просит  
Пищи той в тиши.

Ночью размышленьем  
Мысли обнови,  
Сердце — наслажденьем  
Радостной любви.

Ночью сбрось тревогу,  
Духом укрепишь,  
Помыслами к богу  
Тайно обратишь.

Ночью не напрасно  
Звезд сияет хор:  
Он манит всечасно  
Мысли, как и взор.

Ночью не случайно  
Умолкает шум:  
Мировая тайна  
Занимает ум.

Мудрый в ночь не дремлет,  
Но еще живей  
Чувствует и внемлет  
Мыслию своей.

Ночь зовет нас к миру  
От дневных тревог,  
Ночь живому миру  
Тайно шепчет: бог!

Чу! вот час полночи  
Колокол пробил...  
Милый друг, уж очи  
Сон тебе смежил,

Клонит стан твой гибкой  
И уста твои  
Оковал улыбкой  
Мирною любви.

И средь их коралла  
Замер поцелуй.  
О любви! сначала  
Ты восторжествуй!

Если бы нам нужно было непременно смотреть на эту пьесу как на произведение поэта, мы сказали бы, что талант этого поэта не велик, пьеса слаба. Но теперь нам нет этой необходимости; мы смотрим на пьесу как на произведение дилетанта, не предполагая в ней никаких особенных претензий на поэтическое достоинство, мы можем не спрашивать о ней того, удовлетворяет ли она художественным требованиям, а просто смотреть, нет ли в ней чего-нибудь хорошего — и находим, что стихи в ней вообще гладки и легки, а иные даже довольно милы, что автор мог не стыдяться написать ее в какой-нибудь альбом, что если бы какой-нибудь из наших композиторов, нашедши ее в этом альбоме, вздумал бы сочинить к ней музыку, то «Nocturno. Романс. Слова Н. Арбузова, музыка NN» мог бы нравиться многим девицам, поющим романсы — чего же больше? мы довольны и хвалим пьесу. За этой пьесою следует в книге г. Арбузова другая, которая даже несколько лучше первой:

#### ВЕСНА

В лазури небесного свода  
С улыбкой глядится весна:  
Ликует и блещет природа!  
Лед синий взломала волна,  
И резво помчалась, и в море  
Гуляет на вольном просторе.

Роскошным зеленым покровом  
Оделись и поле и лес;  
Над ними, в румянце багровом,  
По темному своду небес  
Катится дневное светило —  
И золотом дол окропило.

Опять по лугам оживленным  
Раздался пастушечий рог;  
Опять по волнам позлащенным  
Рыбачий помчался челнок;  
И в роще, как смолкнут свирели,  
Звучат соловьиные трели.

Веселой, цветущей долиной  
Красавица снова с своей  
Соломенной вышла корзиной  
За первую данью полей  
И долго стоит над водою,  
Стыдливо любуясь собою.

В тени, под ракитою зыбкой,  
Пред ней отражает волна  
Уста ее с милой улыбкой,  
И робко мечтает она:  
«Кто ж первый, счастливец, ликуя,  
Зажжет в них огонь поцелуя?»

Ни особенного таланта, ни поэзии мы не обязаны требовать от г. Арбузова: ни сам он, ни кто другой не давал нам повода к таким высоким притязаниям; но стихи, воля ваша, недурны, и есть в них даже нечто грациозное. Итак, г. Арбузов одарен способностью писать легкие, иногда звучные и милые стихи — уж и это ведь такое качество, которого иные не имеют, качество, скорее заслуживающее похвалу, нежели осуждение. Но кроме того, г. Арбузов человек с честными и благородными чувствами — это уж решительно заслуживает полного одобрения. Не будем приводить пьес в этом роде, — читатель легко отыщет их, если ему попадетя в руки книга г. Арбузова, и не откажет в своем уважении автору как человеку, если и не назовет его поэтом. Скажем только, что таких пьес у г. Арбузова довольно много и что, по всей вероятности, когда г. Арбузов писал свою «молитву»:

#### МОЛИТВА

Одну молитву от себя  
Я шлю к престолу провиденья:  
Пусть сберегу до гроба я  
В борьбе земного бытия  
Души высокие движенья!

Из уст моих — как предо мной  
Свой мрак откроет уж могила —  
Да не услышит век молодой  
Упрека старости, слепой  
К восходу нового светила.

И хоть угаснет в тишине  
Для творчества мой слабый гений,  
Но пусть всегда живет во мне  
Любовь к разумной новизне  
И к мысли новых поклений!

Когда он писал это, по всей вероятности, он говорил не пустую, мимолетную фразу, а выражал чувство, сроднившееся с его жизнью, проникающее его до глубины души.

Издание «Стихотворений» Арбузова превосходно, особенно хороша сатинированная бумага, — едва ли какой из русских поэтов издавал свои произведения так изящно<sup>1</sup>.

Давно известно, что написать хорошее произведение можно только тогда, когда пишешь о предмете, хорошо известном. При отсутствии же знакомства с делом не спасет ни талант, ни ум: произведение будет иметь разве риторическую красоту, но не будет иметь ни поэтического достоинства, если вы поэт или беллетрист, ни ученой цены, если вы хотели написать что-нибудь в ученом роде. За примерами ходить недалеко. Например, г. Писемский пишет прекрасные рассказы из простонародного русского быта — это потому, что он хорошо знает простонародный русский быт. А если бы тот же г. Писемский вздумал написать повесть из быта готтентотов или бразильцев, повесть, при всем его таланте, была бы дурна, потому что быт готтентотов или бразильцев известен ему только по чужим слухам, которые не могут заменить собственного знания. Впрочем, как человек очень умный, г. Писемский никогда и не вздумает писать рассказы из бразильской жизни, в этом, конечно, можно быть уверены.

Когда видишь какой-нибудь прекрасный пример, невольно думаешь: почему не все подражают ему? Почему, например, все не пишут только о том, что знают? Особенно навязчиво приходит на ум такой вопрос, когда видишь, что именно прекрасный пример подает кому-нибудь случай поступать вовсе не по тому правилу, благодаря которому возник этот прекрасный пример. Хотя бы вот именно «Очерки из крестьянского быта», написанные с большим знанием дела, подают случай к сочинению статей, написанных вовсе без знания того дела, которого касаются. Например, что хорошего было бы, если бы вы, читатель, никогда не изучавший плотничного дела, вздумали написать по поводу «плотничьей артели» рассуждение о плотничном деле?

О плотничном деле, конечно, никому не придет в голову писать, не зная его: предмет не заманчивый, не блистательный. Но есть предметы более заманчивые — и об них-то без всякого знания написаны целые статьи по поводу книги г. Писемского.

Есть на свете наука, называемая эстетикою. Хорошие книги по этой науке написаны на немецком языке. Ни на французском, ни на английском языках хороших трактатов об этой науке нет. Предположим теперь, что вы не приобрели привычки читать немецкие книги — преступного тут ничего нет, но согласитесь сами, что если бы вы захотели следовать прекрасному примеру г. Писемского, пишущего только о том, что он хорошо знает, вы не стали бы писать об эстетике, которой не

можете знать хорошо, не читав немецких трактатов об этой науке.

Предположим теперь, что наперекор прекрасному правилу, соблюдаемому г. Писемским, вы вздумали именно по поводу его книги рассуждать об эстетике, с которой мало знакомы, — что было бы тут хорошего?

Сделаем еще другое предположение. Чтобы определить значение г. Писемского в развитии русской литературы, надобно хорошо знать историю русской литературы. Предположим, что вы ее не совсем знаете, а между тем вздумали определять значение г. Писемского в развитии русской литературы — опять вы нарушили бы прекрасное правило, о котором говорено выше, и не сделали бы ничего хорошего.

Не только для вас, но и для г. Писемского, книгою которого вы пользуетесь для развития ваших соображений об эстетике и русской литературе, нарушение вами прекрасного правила, упомянутого выше, имело бы неблагоприятные следствия. Его повестями вы оправдываете ваши ошибочные понятия о вопросах искусства — какое заключение может иной читатель вывести из гармонии, находимой вами между вашими понятиями и повестями г. Писемского? «Факт, оправдываемый ошибочною теориею или оправдывающий ее, сам ошибочен». Вы назначаете г. Писемскому в развитии литературы место, которое до него уже занято было другими — какое заключение может вывести из этого иной читатель? То, что г. Писемский вовсе не занимает никакого места в развитии нашей литературы. И вот, по прочтении вашей статьи, у многих читателей рождаются мысли, неблагоприятные для произведений г. Писемского.

Впрочем, по всей вероятности, вы еще не захотели признаться, что эстетика и история русской литературы не совсем хорошо знакомы вам. Именно поэтому вы не замечаете, что каждое ваше слово о них заключает в себе ошибку. Надобно доказать вам это. Мы уже предположили, что вами написана, по поводу книги г. Писемского, статья, касающаяся эстетических и историко-литературных вопросов. Просмотрим эту предполагаемую статью.

Статья говорит, например, будто в сороковых годах русская критика проповедывала, что искусство должно иметь дидактическую цель. Статья ошибается. Критика положительно говорила, что сочинение, написанное с дидактическою целью, никак не может назваться произведением поэзии. Она всеми силами гнала из искусства дидактику.

Статья говорит далее, что критика сороковых годов учила художников преднамеренно чернить действительность. Статья ошибается. Критика сороковых годов положительно говорила: 1) что преднамеренность губит поэзию; 2) что не должно ни чернить, ни белить действительность, а надобно стараться

изображать ее в истинном ее виде, без всяких прикрас и без всякой клеветы\*.

Статья решительно не так понимает критику, против которой вооружается.

Далее, предположим, что статья говорит, будто критика сороковых годов не хотела печатать стихотворений в тех журналах, которые подчинялись ей, и что едва голос этой критики замолк, как стихотворения снова появились в журналах. Статья ошибается. Дело было как раз наоборот: стихи печатались в журналах в течение всего того времени, когда, по мнению статьи, журналы не печатали их; стихи перестали печататься в журналах именно тогда, когда, по мнению статьи, начали их печатать, именно в 1848 году. Пусть автор предполагаемой статьи справится с тогдашними журналами.

До «Питерщика», говорит предполагаемая статья, простонародные лица, выводимые нашими беллетристами, были однообразны; все они были бессильны перед житейской случайностью. Статья ошибается. До «Питерщика» было уже выведено множество самых разнообразных типов из простонародья, между прочим, множество мужиков, бойких, изворотливых, энергических. В этом легко убедиться, просмотрев рассказы из простонародного

---

\* Автор предполагаемой статьи, вероятно, удивится, если мы укажем ему, например, следующее место из статьи Белинского о стихотворениях Лермонтова:

«Какая цель поэзии? — вопрос, который для людей, обделенных от природы эстетическим чувством, кажется так важен и неудоборешим. Поэзия не имеет никакой цели вне себя, но сама себе есть цель. Как красота, так и поэзия, выразительница и жрица красоты, — сама себе цель, и вне себя не имеет никакой цели. Если она возвышает душу человека, настроивает ее к благим действиям и чистым помыслам — это уже не цель ее, а действие, это делается само собою, без всякого предначертания со стороны поэта» и т. д. Из этого можно видеть, расположен ли был Белинский внушать поэтам какие-нибудь дидактические цели.

«Для поэта (продолжает он) все явления в мире существуют сами по себе (в объяснение этих слов, без сомнения, темных человеку, не привыкшему к терминологии той науки, о которой судит и рядит, заметим для автора статьи, что выражение «предмет, существующий сам по себе», на языке науки означает: предмет, существование которого не имеет какой-либо внешней цели, который существует только для того, чтобы, так сказать, наслаждаться своим бытием). Он переселится в них, живет их жизнью и с любовью лелеет их на своей груди, так, как они есть, не изменяя по своему произволу их сущности» и т. д. Из этого можно видеть, расположен ли был Белинский учить поэтов тому, чтоб они чернили изображаемую ими жизнь.

Мысли, нами выписанные, г. противник Белинского найдет в XIV томе «Отчужденных» зап[исок] — в отделе «Критика» — на какой странице, мы не скажем, чтобы он, отыскивая выписанные нами строки, имел случай просмотреть хотя несколько страниц, написанных тем человеком, на которого он нападает, и таким образом убедиться, что до сих пор имел самое неверное понятие о духе критики Белинского.

До сих пор ведь он и не воображал, что Белинский говорил: «поэзия есть сама себе цель и не имеет внешней цели» и т. д. А Белинский никогда не говорил ничего иного.

изображать ее в истинном ее виде, без всяких прикрас и без всякой клеветы\*.

Статья решительно не так понимает критику, против которой вооружается.

Далее, предположим, что статья говорит, будто критика сороковых годов не хотела печатать стихотворений в тех журналах, которые подчинялись ей, и что едва голос этой критики замолк, как стихотворения снова появились в журналах. Статья ошибается. Дело было как раз наоборот: стихи печатались в журналах в течение всего того времени, когда, по мнению статьи, журналы не печатали их; стихи перестали печататься в журналах именно тогда, когда, по мнению статьи, начали их печатать, именно в 1848 году. Пусть автор предполагаемой статьи справится с тогдашними журналами.

До «Питерщика», говорит предполагаемая статья, простонародные лица, выводимые нашими беллетристами, были однообразны; все они были бессильны перед житейской случайностью. Статья ошибается. До «Питерщика» было уже выведено множество самых разнообразных типов из простонародья, между прочим, множество мужиков, бойких, изворотливых, энергических. В этом легко убедиться, просмотрев рассказы из простонародного

---

\* Автор предполагаемой статьи, вероятно, удивится, если мы укажем ему, например, следующее место из статьи Белинского о стихотворениях Лермонтова:

«Какая цель поэзии? — вопрос, который для людей, обделенных от природы эстетическим чувством, кажется так важен и неудоборешим. Поэзия не имеет никакой цели вне себя, но сама себе есть цель. Как красота, так и поэзия, выразительница и жрица красоты, — сама себе цель, и вне себя не имеет никакой цели. Если она возвышает душу человека, настроивает ее к благим действиям и чистым помыслам — это уже не цель ее, а действие, это делается само собою, без всякого предначертания со стороны поэта» и т. д. Из этого можно видеть, расположен ли был Белинский внушать поэтам какие-нибудь дидактические цели.

«Для поэта (продолжает он) все явления в мире существуют сами по себе (в объяснение этих слов, без сомнения, темных человеку, не привыкшему к терминологии той науки, о которой судит и рядит, заметим для автора статьи, что выражение «предмет, существующий сам по себе», на языке науки означает: предмет, существование которого не имеет какой-либо внешней цели, который существует только для того, чтобы, так сказать, наслаждаться своим бытием). Он переселится в них, живет их жизнью и с любовью лелеет их на своей груди, так, как они есть, не изменяя по своему произволу их сущности» и т. д. Из этого можно видеть, расположен ли был Белинский учить поэтов тому, чтоб они чернили изображаемую ими жизнь.

Мысли, нами выписанные, г. противник Белинского найдет в XIV томе «Отечественных» зап[исок] — в отделе «Критика» — на какой странице, мы не скажем, чтобы он, отыскивая выписанные нами строки, имел случай просмотреть хотя несколько страниц, написанных тем человеком, на которого он нападает, и таким образом убедиться, что до сих пор имел самое неверное понятие о духе критики Белинского.

До сих пор ведь он и не воображал, что Белинский говорил: «поэзия есть сама себе цель и не имеет внешней цели» и т. д. А Белинский никогда не говорил ничего иного.

быта, написанные гг. Тургеневым и Григоровичем до 1850 года. Например, «Записки охотника» начинаются портретом Хоря и его детей; семейство это все состоит из людей веселых, бойких и здоровых.

Предполагаемая статья говорит, что до появления «Питерщика» число людей, писавших рассказы из простонародного быта, было очень велико — напротив, тогда их было мало; в последующие годы число таких людей значительно увеличилось.

Таким образом, предполагаемая статья не помнит самых осязательных фактов в истории литературы даже последних десяти лет, — фактов, известных каждому.

Предполагаемая статья не только не знает той эстетической теории, против которой восстает, не только спутывает историко-литературные факты, о которых очень легко бы навести справки, если уж изменяет ей память, — она (вероятно преднамеренно) не дает себе отчетливого понятия о смысле тех самых рассказов, по поводу которых входит в теоретические и историко-литературные сообщения. А тут, казалось бы, даже и справок наводить не нужно — стоит только заглянуть в книгу, которая, конечно, лежала на том столе, на котором писалась статья о ней.

В самом деле, статья воображает, что существенная особенность рассказов г. Писемского из простонародного быта — примирительное, отрадное впечатление, ими производимое. Посмотрим, каково на самом деле это впечатление.

Раскрываем «Питерщика». Питерщик возвратился из Петербурга, кончив ремесленное учение — мать хочет его женить и отправляется к барину просить невесту для парня.

«— У кого же вы думаете взять? — спрашивает помещик.

«— У кого ваше приказанье будет, — отвечает мать» (стр. 9).

Как живут питерщики (поселяне, промышляющие ремеслами в Питере)? На это отвечает один из них следующим образом:

«— Не по всем же мастерствам дается жалованье равное?» — спрашивает у своего хозяина автор.

«— Жалованье идет разное, про это кто говорит, только в кармане выходит одно и то же. На что уж, кажись, по жалованью лучше кузнечного дела! последний работник получает четыреста рублей ассигнациями в год, а который поискуснее, так и ретыреста на серебро хватит — а много ли богачей? Ни одного! От малого до большого, что в неделю заработал, то на празднике в харчевне и спустил» (стр. 16).

Из той деревни, о которой ведется речь в рассказе, все мужики живут в Питере. Дома остались только бабы. Бабы и пашут (стр. 26) и даже десятскими служат (стр. 11 и 26). Каково ведут себя их мужья в Петербурге? — если есть у мужика в Питере деньги, он непременно содержит любовницу, «вестимо, уж без того не бывает», говорит десятский Марья (стр. 28). Зато если



кому из мужиков случилось по каким-нибудь обстоятельствам жить в деревне, то эта же самая десятский Марья, имеющая мужа в Питере, заводит с ним связь (стр. 29). А ведь и у мужика этого есть жена, — правда и то, что он женат на ней без собственной воли. «За глаза меня, сударь, сговорили, да помолвили на девушке из макарьевского именья, я и не рассмотрел хорошенько, накануне только свадьбы и в рожу-то увидал невесту. Во всю свадьбу поили меня на убой, чтобы многого не рассмотрел (говорит он сам). Опомнился от ихнего угощенья, как домой приехал, и только всплеснул руками. Затаил я, сударь, все на сердце, и через неделю же после свадьбы махнул в Питер» (стр. 34) — там, конечно, обзавелся любовницею.

Как вам нравится быт, обрисованный первою из трех повестей, находящихся в книге г. Писемского? Отрадное и примирительное действие производит на вас он, — не правда ли?

Сюжет повести — рассказ о том, как питерщик, убежавший в Питер от жены, обзавелся в Питере любовницею, и как эта любовница со своею теткою обобрали его кругом. Эти женщины, обирающие мужика, «звание имеют обер-офицерское» (стр. 40). Тетка насильно принуждала к этому делу свою племянницу, которая от того, «здоровье потеряла» (стр. 52); бедняжка гибнет от чахотки, а мужик, имевший прежде несколько тысяч капитала, дошел, как сам говорит, до того, что, «как появится в кармане хоть гривенник, сейчас его в кабак. Дня по два совсем не емши был, одежда — словно рублище, сапоги только одно звание. Стыдно признаться, а грех потаить: бывали такие случаи, что Христа ради просил» (стр. 54).

По мнению статьи, этот рассказ составляет решительную противоположность «мрачным картинам действительности», тем же качеством отличаются и следующие два рассказа, которые также интересно рассмотреть по отношению их к предполагаемому статьею отрадному их впечатлению.

«Леший», второй рассказ, вероятно, памятен читателям нашего журнала, в котором был помещен три года тому назад. Они, конечно, помнят, что рассказ ведется от лица кокинского исправника, который честен, как Аристид, деятелен, как Цезарь, искусен в ведении дел, как Чичиков. У него в земском суде дела идут живо и исправно. Каким же способом поддерживается у него такой порядок? Он сам говорит: «Приказную братью эту запру в суде, да и не выпускаю, пока не приведут всего в порядок» (стр. 61). Рассказ идет о проделках марковского управляющего, отъявленного негодяя, который разоряет мужиков и барина, за что и наказывается в конце рассказа. Этот Егор Парменов постоянно мошенничает самым наглым образом, дерзость его доходит до того, что даже исправнику осмеливается он давать подводы не из отличных барских лошадей, а из мужицких, которые едва ноги таскают (62), и даже не считает нужным выходить из своей ком-

наты к исправнику, так что исправник принужден был послать за ним (стр. 69)—наглость необычайная, почти беспримерная, особенно когда мы подумаем, что исправник лично находится в самых хороших отношениях и постоянной переписке с марковским помещиком и даже получил от него доверительное письмо, по которому может сменить Егора Парменова, как только захочет (стр. 75) — если так нагло поступает Егор Парменов с человеком, в руки которого отдана его участь, то как же он должен поступать со всеми другими? Он должен быть не мошенником, а просто разбойником. И, однако же, Аристид-исправник, при всей своей ловкости и опытности, целые четыре года ведет с ним напрасную войну, целые пять лет не может ни уличить его в каком-нибудь преступлении, чтобы наказать его по закону, ни обнаружить его проделки так, чтобы убедить помещика. «Играл я с ним эту игру года четыре», — говорит сам исправник (стр. 76), «пять лет я не знал его главной проделки», — продолжает он (стр. та же 76). Итак, самому честному и ловкому надсмотрщику нужно было не менее пяти лет, чтобы поймать и уничтожить наглейшего разбойника. Что же должно происходить в уездах, не имеющих таких редких исправников? Наконец, на пятом году, Егор Парменов уличен в том, что погубил девушку, обманом напоив ее до бесчувствия (стр. 113) — ведь это по закону уголовное преступление; чем же он поплатился за него? Его сменяют с должности управителя, и только, — хорошо наказание! Да по закону этого молодца следовало бы в каторжную работу отправить. А исправник и автор думают, что наказание отрешением от должности еще слишком тяжело для него: «Два совершенно противоположные чувствования овладели мною: я и был рад унижению, которым наказан Егор Парменов, и вместе с тем, как человека, жаль его было. Иван Семеныч (исправник-Аристид) тоже был мрачен. Я откровенно высказал ему свои мысли. — Я сам то же чувствую-с, — отвечал он» (стр. 129). По правде говоря, мы сами замечаем в себе склонность разделять с исправником и автором это преступное сострадание — так приучены мы, что потворство преступнику, оставшемуся почти безнаказанным, кажется нам чувством естественным. Но это сочувствие может ли быть выгодным для нравов общества?

Почему же Егор Парменов попал в управители? — потому что, «бывший камердинер господина вступил в законный брак с мамзелью, исправлявшею некоторое время при господине должность мадамы» (стр. 64).

Марфуша, девушка, над которою совершил Егор Парменов преступление, наказанное столь легко, имела к нему любовь, а между тем, у этого человека, растолстевшего до безобразия, была «скверная сальная рожа» (стр. 110) — бедняжка прельстилась его казинетовым пальто, жилетом пике и часами на золотой цепочке (стр. 66) — неужели же самому скверному лицом чело-

веку довольно щеголять в немецком платье, чтобы побеждать наших поселянок?

Девушка похищена из дому; возвратившись, она не смеет открыть своего стыда и, по наущению Егора Парменова, сваливает вину на лешего — «леший, говорит, ее к себе таскал» — и вся деревня, весь околоток верит ее рассказу (стр. 80) — неужели наши поселяне так просты и тупы? Неужели в целом приходе не нашлось ни одного такого, который догадался бы, что лихой человек чаще беса бывает виноват в наших бедах?

Можно было бы извлечь сотни таких замечаний из этого рассказа г. Писемского; не менее богат подобными материалами и третий рассказ — «Плотничья артель». Пузич, хозяин артели, самая отвратительная и зловредная гадина — он подл, безжалостен, льстец и наглец, не имеющий понятия ни о чем, кроме мошенничества. Все работники — в совершенной, безвыходной зависимости от этого плута, — он их просто в кабале держит; он искусно пользуется тем, когда кому из поселян понадобились деньги для какой-нибудь необходимой уплаты — дает несколько целковых взаймы, потом берет должника к себе в артель зарабатывать долг и платит ему за работу сколько сам хочет. Вот как говорит об этом Сергеич, один из трех рабочих, поставленных Пузичем на постройку риги к тому помещику, от имени которого ведется рассказ.

«— Сударь мой милостивый, прямо тебе скажу: вся артель у нас на одном порядке, все в кабале у него состоим. Вот хоть бы этот Митюшка, дурашный, дурашный парень, а все бы в неделю не рублем ассигнациями надо ценить» (стр. 163). Сам Сергеич также в кабале у него, заняв денег на уплату за сына двухсот рублей мирских денег, которые сын прогулял, бывши добросовестным при волостной конторе (стр. 162) — теперь зато и получает вместо одного целкового — два с полтиной ассигнациями. А пора бы отдохнуть Сергеичу — ему уж седьмой десяток, и глаза слепнуть стали. Но он должен расплачиваться с миром. Петруха, который всем мастерством в артели заправляет и без которого Пузич бревна положить не сумеет, тоже работает Пузичу за полцены, взяв у него триста рублей, когда два года лежал больной (стр. 164). История этого Петра и есть настоящий сюжет рассказа; но прежде, нежели мы обратимся к ней, заметим, как хорошо молодым бабам работать, по словам Петра. Старосту Семена называет он волокитою; Семен обиделся таким намеком, сделанным при барине — «ты молчи, клинья борода, — говорит Петр; — не серди меня, а то обличу». — «Не в чем, брат, обличать меня», — проговорил кротко, но не совсем искренно Семен. — «Не в чем? А ну-ка, сказывай, как молодым бабам десятины меряешь? Что? потушился? Сам ведь я своими глазами видел: как, голова, молодой бабе мерять десятину, все колов на двадцать, на тридцать, простит, а она и помни это: получка после будет!» (стр. 173).

Начинается история Петра. Его заела и загубила мачиха — это еще не диво, мачихе натурально быть недоброжелательной к пасынку, но любопытна причина, за которую она взъелась на пасынка — она хотела слюбиться с ним, а он не хотел обидеть отца, да и девушка у него была на примете (стр. 179). Неужели история Федры свойственна нравам наших простолюдинов?

Хитрая и развратная женщина сначала старается поссорить Петра с женою, и хотя Петр женился на девушке, которую любил, однако же, по наговорам мачихи, каждый день либо бранил свою Катюшку, либо давал ей зуботычину (стр. 180). Однажды, крепко побивши жену, Петр пожалел ее, увидев, что бил понапрасну, и в утешение купил ей ситцу на сарафан — сестры Петра и мачиха за то обозлились на Катюшку (стр. 181), пожаловались отцу Петра, и тот, отняв у снохи подарки (купленные ей мужем не на отцовские, а на заработанные сыном деньги), отдал их своей жене и дочерям (стр. 181). Свекор, по наговору дочерей, совсем заморил работою сноху; между прочим, в последнее время беременности заставлял ее вваливать бревна на телегу. Сын стал говорить отцу, что ей теперь такой работы делать нельзя. Отец за шиворот стащил его к бурмистру, который побил его (стр. 184). Даже есть не давала семья Петру с женою, хотя он своею работою всю семью содержал. Наконец sentimentalная барыня упростила барина отделить Петра от отца; Петр отошел почти нищим, вскоре занемог, два года был болен и задолжал Пузичу, у которого теперь работает, будто в кабале. Пришел Успенев день. Народ весь сошелся в село, в церковь. Пузич сидит в кабаке пьяный; от нечего делать колотит одного из своих работников, безответного парня Митюшку. На крик Митюшки пришел Петр, стал отымать парня у Пузича. Пузич накинулся на него, впился зубами ему в плечо и поплатился жизнью. «Как Петруха-то оборанивался, да как ухватит его за-поперег, на аршин приподнял да и хрясь о землю — только и проохнул» (стр. 225) — убил Петруха подрядчика на месте. Петруху связали и препроводили в суд, откуда препроводят в Сибирь. Тем кончается третий и последний очерк из крестьянского быта.

Мы все рассказывали, по возможности, словами автора, и ни в одном месте не употребили ни одного выражения, более резкого, нежели какое стоит в книге; напротив, в большей части мест смягчали выражения.

Как же нравятся вам, читатель, нравы и быт, которые изобразил г. Писемский? Производят ли на вас эти картины отрадное, веселое впечатление? Мы говорим пока не о том, верны ли действительности, или не верны эти картины, а только о том, каков оттенок колорита, в них господствующего?

На основании этих-то самых очерков, предполагаемая статья, о которой мы надолго позабыли для просмотра книги, ею разбираемой, — на основании этих картин беззакония и разврата, пре-

ступлений и плутней, — благодушная эта статья решает, что г. Писемский «нанес смертный удар повествовательной рутине, явно увлекавшей русское искусство к узкой и во что бы то ни стало мизантропической деятельности»; что рассказы г. Писемского существенно противоположны прежним рассказам, «погрязшим в темной стороне жизни». Между тем, кажется, должно быть ясно для всякого, что дело вовсе не таково; что никто из русских беллетристов не изображал простонародного быта красками более темными, нежели г. Писемский; что если о ком-нибудь, то именно о нем надобно сказать, что из-под пера его выходят «мрачные картины преднамеренно зачерненной действительности», что в нем мы имеем самого энергического деятеля «узкой мизантропической тенденции».

Предполагаемая статья не хочет ничего видеть. Таково ли призвание писателя? Должен ли язык писателя быть выразителем до такой степени ошибочных мыслей, имеет ли он право добровольно закрывать глаза и уши на факты, которые так и бросаются в глаза, так и гремят в уши? Такое самоослепление может быть сравнено только с самоослеплением тех лицеприятных судей, которым говорит Державин:

Ваш долг спасать от бед невинных,  
Несчастливым подать покров;  
От сильных защищать бессильных,  
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! видят и не знают;  
Покрыты мздою очеса...

От ошибок, порожденных в предполагаемой статье слабым знакомством с эстетикою и сильною самоуверенностью, мог бы подвергнуться опасности г. Писемский. По незнакомству с делом статья назначает господину Писемскому такое место в оазисити русской литературы, которого он не может занимать. Каждому, знакомому с ходом русской беллетристики, известно, что никаких перемен в ее направлении г. Писемский не производил, по очень простой причине — таких перемен во все последние десять лет не было, и литература более или менее успешно шла одним путем, — тем путем, который проложил Гоголь; да и надобности в изменении направления не было, потому что избранное направление хорошо и верно. После этого иной читатель, как мы сказали, может остановиться на отрицательном выводе: «такого значения, какое приписывает ему статья, г. Писемский не имел; его произведения своим направлением не отличаются от произведений, написанных раньше его другими даровитыми писателями; стало быть, в его произведениях нет ничего особенно нового или оригинального».

Но такое отрицательное заключение было бы столь же ошибочно, как и рассуждения предполагаемой статьи, приводящей

к нему своими ошибочными понятиями о развитии русской литературы. Надобно просто сказать, что, приписав г. Писемскому роль, которая вовсе не принадлежала ни ему, ни кому другому из современных даровитых писателей, — роль спасителя литературы от воображаемых предполагаемых статей опасностей, — опасностей, никогда не существовавших на самом деле, — предполагаемая статья не хотела понять и определить его истинной роли в нашей литературе. А между тем, сделать это было очень легко: роль г. Писемского настолько блистательна, характер его произведений настолько определителен и оригинален, что при малейшем знании предмета бросаются в глаза черты, которыми его повести и рассказы отличаются от произведений всех других наших даровитых беллетристов.

Мы теперь должны говорить только об «Очерках из крестьянского быта», а не о всей деятельности г. Писемского. Но те особенности, которые замечаются в его «Очерках» при сравнении этих рассказов с другими лучшими рассказами из сельского быта, находятся также во всех остальных произведениях г. Писемского и отличают его от всех тех беллетристов, которые разделяют с автором «Тюфяка» внимание публики.

В своей критической статье о Гоголе г. Писемский выражал мнение, что талант Гоголя чужд лиризма. Про Гоголя, как нам кажется, этого сказать нельзя, но, кажется нам, в таланте самого г. Писемского отсутствие лиризма составляет самую резкую черту. Он редко говорит о чем-нибудь с жаром, над порывами чувства у него постоянно преобладает спокойный, так называемый эпический тон. Достоинство это или недостаток, вообще мы не беремся решить; но, конечно, г. Писемский не думал порицать Гоголя за отсутствие лиризма, и нам кажется, что у г. Писемского отсутствие лиризма скорее составляет достоинство, нежели недостаток; нам кажется, что хладнокровный рассказ его действует на читателя очень живо и сильно, и потому полагаем, что это спокойствие есть сдержанность силы, а не слабость. Правда, некоторые из наших критиков, обманываясь этим спокойствием, говорили, что г. Писемский равнодушен к своим лицам, не делает между ними никакой разницы, что в его произведениях нет любви и т. д. — но это совершенная ошибка. Любить умеет не только тот, кто любит кричать о своей любви: у иного чувство выражается и словом и делом, у иного только делом, и, быть может, тем сильнее, чем молчаливее. Довольно припомнить хотя бы «Очерки из крестьянского быта», чтобы убедиться в том, что у г. Писемского спокойствие не есть равнодушие. Он, очевидно, имеет сильное расположение к своему питерщику Клементию, который в самом деле стоит расположения; он, очевидно, очарован сильною и благородною личностью своего Петра и, если бы мог, стер бы с лица земли, как гнусную гадину, Пузича (в «Плотничьей артели») или Егора Парменова (в «Лешем») — какое тут равнодушие, поми-

луйте! — на чьей стороне горячее сочувствие автора, вы ни разу не усомнитесь, перечитывая все произведения г. Писемского. Но чувство у него выражается не лирическими отступлениями, а смыслом целого произведения. Он излагает дело с видимым беспристрастием докладчика, — но равнодушный тон докладчика во все не доказывает, чтобы он не желал решения в пользу той или другой стороны, напротив, весь доклад так составлен, что решение должно склониться в пользу той стороны, которая кажется правую докладчику.

В «Очерках из крестьянского быта» г. Писемский тем легче сохраняет спокойствие тона, что, переселившись в эту жизнь, не принес с собой рациональной теории о том, каким бы образом должна была устроиться жизнь людей в этой сфере. Его воззрение на этот быт не подготовлено наукою — ему известна только практика, и он так сроднился с нею, что его чувство волнуется только отклонениями от того порядка, который считается обыкновенным в этой сфере жизни, а не самым порядком. Если курная изба крепка и тепла, для него совершенно довольно; он не считает нужным беспокоиться из-за того, что она курная. С известной точки зрения, он в этом ближе к настоящим понятиям и желаниям исправного поселянина, нежели другие писатели, касавшиеся этого быта. Они готовы спорить с поселянином, доказывать исправному мужику, что лучше жить в белой избе, нежели в курной, готовы толковать ему о средствах, которыми может его быт улучшиться настолько, чтобы вместо печи, сбитой из глины, могла у него быть изразцовая. Г. Писемский не таков. Он соглашается с Сидором Пантелеевым, что лучше того, чем живет сосед Сидора, Парамон Тимофеев, и жить мужику не приходится, — желать лучшего было бы только бога гневить, — и пожалеет о Сидоре только тогда, когда у Сидора нехватает хлеба на год, — согласно тому, что и сам Сидор находит свое житье плохим только в этом крайнем случае. Он не хлопочет о том, чтобы существующая система сельского хозяйства заменилась другою, приносящею более обильные жатвы; он жалеет только о том, когда бывает неурожай. Он не судит существующего.

Поэтому-то иным и могло показаться, что в его «Очерках из крестьянской жизни» должно быть более отрадного, нежели в рассказах подобного рода, написанных людьми, более требовательными, — людьми, которые возмущаются не теми только случаями нарушения существующих обычаев, но и многими из самых обычаев как слишком грубыми и вредными. Но на деле выходит едва ли не иначе: он был бы доволен, если бы соблюдался обычай; но обычай нарушается, по его словам, так часто и таким волюющим образом, что вы, читая со вниманием его рассказы, получаете о действительном быте понятие еще менее приятное, нежели читая рассказы, написанные людьми менее уступчивыми. Впрочем, для человека внимательного и мыслящего, почти всегда так бывает,

если только писатель добросовестен. Один, положим, доказывает, что взяточничество есть преступление, гибель для народа и т. д.; другой говорит: «это бы еще ничего — взяточничество — обычай сам по себе извинительный и безобидный, жаль только, что этим обычаем слишком часто злоупотребляют люди бессовестные»; понятия первого справедливее, но слова второго показывают действительность в свете, гораздо более темном. Тут возмущаются даже люди, нимало не восстающие против умеренного взяточничества, признаваемого обычаем.

**Записки императорского русского географического общества.**  
*Книжка XI. Издана под редакциею В. Г. Ерофеева. Спб. 1856*

**Записки Сибирского отдела русского географического общества.**  
*Книжка II, изданная под редакциею секретаря общества Е. И. Ламанского. Спб. 1856*

Одиннадцатая книжка «Записок Географического общества» составлена преимущественно из статей совершенно специальных, каковы «Геогностическое исследование девонской полосы средней России, от реки Западной Двины до реки Воронежа» академика Гельмерсена; «Геогностическое исследование, произведенное в губерниях Воронежской, Тамбовской, Пензенской и Симбирской, от Воронежа до Самары», г. Пахта, и «Таблицы показания времени лунных и солнечных затмений с 1840 по 2001 год, на московском меридиане», вычисленные и составленные г. Ф. Семеновым. Большинству читателей доступны статьи: академика Бэра — «Ученые заметки о Каспийском море и его окрестностях», и г. Маркевича — «Реки Полтавской губернии». Статьи, вошедшие в состав второй книжки «Записок Сибирского отдела Географического общества», все могут быть прочитаны каждым образованным человеком, хотя также почти все вносят в науку новые факты. Кроме «Летописи общества» и разнообразной «Смеси», мы заметим в этой книжке «Путевой журнал плаванья по реке Амур, от Усть-Стрелочного караула до впадения ее в Татарский пролив» г. Пермикина; «Об открытии и продолжении путей кругом Байкала» г. А. Мордвинова; описания древних памятников и чтения надписей на них г. Юренского, г. Д. Давыдова и архимандрита Аввакума; наконец «Замечания о золотых приисках Нерчинского округа» гг. Аносова и Версилово.

Вопрос о геологической судьбе Каспийского моря принадлежит к числу самых загадочных в науке. Несомненные геогностические факты (нахождение морских раковин, солончаки, песчаные бугры, форма и состав которых изобличает, что они могли быть образованы только морскими течениями, а никак не ветрами) доказы-



вают, что степи, ныне простирающиеся по левому берегу Волжского понизовья, были еще покрыты водами Каспийского моря, когда уже давно поднялись из моря все или почти все другие части нынешних материков. С тем вместе замечания старожилов и сравнение старых географических карт с нынешними доказывают, что во многих местах воды Каспийского моря отступают назад; особенно быстро это совершается в устьях больших рек — Волги, Урала и Терека. Соединяя эти наблюдения с геологическими фактами, многие полагали, что объем Каспийского моря уменьшался постепенно и до сих пор оно продолжает высыхать. Некоторые, основываясь на словах Приска, что скифы приходили с севера на Персию по болотам (в IV веке после Р. Х.), предполагают даже, что назад тому полторы тысячи лет полоса земли, отделяющая Каспийское море от Черного, еще не просохла, и, стало быть, еще незадолго перед тем, оба моря соединялись между собою. Наш знаменитый естествоиспытатель, г. Бэр, считает все эти предположения несправедливыми. Он доказывает, что уменьшение объема Каспийского моря совершилось внезапно, вследствие мгновенного геологического переворота, что уменьшение это относится к временам доисторическим, что с того времени Каспийское море не изменялось значительным образом в объеме и что наносные дельты рек, в него впадающих, имеют гораздо меньшие объемы, нежели обыкновенно предполагается.

Болота, по которым проходили скифы через восемьсот лет после Геродота, невозможно считать неуспевшим еще высохнуть дном Каспийского моря, говорит он, потому что размеры Каспийского моря во время Геродота были уже совершенно таковы же, как и теперь; болота, по которым проходили скифы, — донные существующие болота вокруг Азовского моря или вокруг устья Маныча. Кроме того, рассмотрение нижнего течения Волги и Урала доказывает, что для образования нынешнего русла этих рек нужен был период времени, гораздо продолжительнейший, нежели какие-нибудь полторы или две тысячи лет. У Каменного Яра течение Волги должно было сгладить слой довольно твердого сланца; выше Царицына русло Волги прорыто в довольно твердых породах, — а это русло прорыто слишком на десять сажен ниже слоя морских раковин (у Черного Яра), и, однако же, течение воды, прорывшее столь углубленное русло, уже совершенно сгладило его, так что на Волге не только теперь нет порогов или быстрин, но и в летописях не упоминается о их существовании.

Каким образом совершилось это изменение в объеме Каспийского моря? Оно совершилось внезапно; главным доказательством тому служат холмы, составленные из плотного степного солончатого грунта и идущие по берегу Каспийского моря от Волги до Терека, — они образованы быстрым стоком огромной массы морской воды. То же доказывает, по мнению г. Бэра, толстый слой смешанного с песком волжского ила, лежащий несколькими

десятками футов выше нынешнего уровня Волги на слое морских раковин и в некоторых местах имеющих до нескольких аршин толстоты, — это не накопление множества постепенно образовавшихся тонких слоев, потому что в нем вовсе не заметно подразделения мелкой прослойки, а одновременно вдруг осадившийся толстый слой ила, — он указывает на увлекавшее в себе огромную примесь земли чрезвычайно быстрое течение, которое должно было образоваться на Волге при внезапном понижении уровня каспийских вод на несколько десятков футов.

«Описание рек Полтавской губернии» г. Маркевича — труд, очень полезный для статистических соображений и, сколько можно судить, не проверив его на месте, составленный отчетливо и добросовестно. Всех больших и мелких рек и речек в Полтавской губернии он насчитывает 242, кроме Днепра, в который все они впадают. Их общее протяжение около 7 000 (6 832) верст; а с частью Днепра, омывающею границу Полтавской губернии, более 7 000 (7 172) верст. И, однако же, над реками и речками живет, по вычислению г. Маркевича, только  $\frac{2}{3}$  населения Полтавской губернии (1 108 448 душ); остальная треть (556 882 души) живет не на проточных водах, а над прудами и колодцами. Рек, имеющих более 200 верст длины, г. Маркевич насчитывает 6 (кроме Днепра); 19 других рек имеют от 130 до 50 верст длины. Однако же ни по одной из них, кроме Днепра, нет судоходства; бесполезны для торгового движения остаются даже такие значительные реки, как Сула (в Полтавской губернии 12—73 сажени ширины, от 1 до 3 сажень глубины), Псел (в Полтавской губернии 25—60 сажень ширины,  $1\frac{1}{2}$  до 3 сажень глубины), Орель (400 верст длины, 20—50 сажень ширины, от 3 до  $3\frac{1}{2}$  сажень глубины). В старину по многим из полтавских рек было судоходство, но теперь все они перегорожены плотинами. По официальным показаниям, в Полтавской губернии находится 356 плотин, — в действительности число их, по мнению г. Маркевича, гораздо больше; почти все они построены для того, чтобы поставить на них мельницы, но многие так и остаются без мельниц, совершенно без всякого дела задерживая реку; да и из мельниц, по мнению г. Маркевича, две трети совершенно бесполезны, потому что всего на две, на три недели имеют работу, а весь остальной год стоят задаром. Эти бесполезные плотины уничтожают возможность судоходства, но не в том еще главное зло от них. Они наполняют прибрежья рек гнилыми болотами и затонами, отнимая огромное количество земли у жителей и заражая воздух. Чтобы определить степень этого вреда, г. Маркевич берет в пример речку Удай, имеющую 208 верст длины и впадающую в Сулу. Под руслом Удая находится 780 десятин; под его болотами 39 780 десятин, погибших для земледелия и скотоводства. На этой реке живет 21 183 души населения. Если бы уничтожить бесполезные плотины (которых числом 19), болота высохли бы, и на каждую душу населения

прибавилось бы почти по две десятины удобной земли, естественное богатство края увеличилось бы слишком на половину (теперь приходится менее  $3\frac{1}{2}$  десятины на душу) и здоровье местных жителей улучшилось бы, с очищением атмосферы от вредных испарений; да, вероятно, и вода в реках была бы тогда чище и здоровее. Не говорим уже о том, что тогда по реке Удаю можно было бы сплавать через Сулу в Днепр земледельческие произведения, которые теперь возятся к рынкам сухим путем, то есть почти не имеют сбыта. Спрашивается, говорит г. Маркевич, приносят ли удайские мельницы, из которых половина стоит без дела, столько пользы, сколько принесло бы уничтожение плотин, для них построенных? «Но я не прав, — продолжает он, — изменить то, к чему привыкли столетия, и не легко, и безрассудно. Можно ли менять статью доходов известную, старинную, прадедовскую, хотя бы она была весьма посредственна, на статью, быть может, по расчетам и полезную, но неизвестную, новую? Нередко, видя, как веют рожь машиною, я мысленно ругаю Бутнопа: то ли дело, когда я был во младенчестве! — невольно в душу вкрадываются сладкие воспоминания. Прихожу на ток, лежит зерно не перевешное, мужички стоят, опершись на лопаты: они в раздумьи о том, что ветер вдруг затих. И вот начинается тихое посвистыванье веяльщиков: это они манят вегер, а заколдованный ветер от этого свиста чародейского начинает разгуливаться. Какое наслаждение!»

Переходим к «Запискам Сибирского отдела Географического общества». Важнейшая из статей, помещенных в рассматриваемой нами книжке, — «Путевой журнал плавания по Амуру» г. Пермикина. Экспедиция, к которой причислен был г. Пермикин, прибыла по реке Шилке 17 мая 1854 года к Усть-Стрелочному караулу, расположенному при слиянии Шилки с Аргунью, — с этого места река, образуемая их соединением, называется Амуром. Она становится уже удобна для плавания больших судов и пароходов. Г. Пермикин занимался преимущественно геогностическим обозрением берегов Амура; но его журнал представляет, кроме геогностических подробностей, довольно много географических и этнографических данных, которые мы и извлекаем из него. 18 мая экспедиция поплыла вниз по реке, держась более к левому берегу, и 20 мая прибыла к устью реки Албазихи, или Эмури, впадающей в Амур с правой стороны. В устье Албазихи образовался низменный остров версты в две длиной. Против него, на левом берегу Амура, стоял Албазинский острог. На северной стороне острова остались еще следы батареи, устроенной китайцами для осады Албазина. На местности, которую занимал острог, еще видны остатки вала, печей и колодца, обломки кирпичей, глиняной посуды и проч. В одном месте, под пластом земляной насыпи, нашелся даже слой почерневших от огня хлебных зерен. Проплыв до Албазина по Амуру, экспедиция поняла, по-

чему именно это место было избрано козаками для поселения. Прибрежья Шилки, по которой спускалась партия удальцов, и потом берега Амура до самого устья Албазихи так гористы, что не представляют удобного места для поселения, здесь же горы понизились, береговые луга покрыты тучною травой и местами виден лес, так что по направлению от Нерчинска, из которого шли козаки, это первая местность, удобная для постоянного жительства. С устья Албазихи начинается по берегам Амура местность открытая; характер растительности изменяется: вместо прежних лиственниц экспедиция стала встречать при дальнейшем плавании дуб, орешник, ясень и дикую розу. На берегу видела она несколько юрт тунгусов из племени манегри. Удивительно было равнодушие этих дикарей к невиданным судам и людям, плывшим мимо них по реке, — они мимоходом посматривали на пароход, но не обнаруживали любопытства, и спокойно продолжали свои занятия или уходили в юрты. Местность прибрежья, начиная с устья Албазихи, постоянно казалась благоприятною для хлебопашества и оседлых поселений. 24 мая экспедиция плыла мимо песчаной горы Цагаия. Один из туземцев, юрты которых изредка разбросаны по берегам, объяснил через переводчика г. Пермикину, что эта гора имеет чудесное свойство: от приближения к ней человека она испускает дым; но когда человек уходит, гора перестает дымиться. — Но как же было можно узнать, что она, оставаясь без людей, не дымится, если люди всегда видят на ней дым? — Туземец не затруднился этим вопросом и сказал, что однажды его товарищ подкрался с другого берега реки, ползком в траве, так что гора его не заметила и не выпускала дыму, но лишь только он встал на ноги, тотчас задымилась. Как и следует, манегри поклоняются такой чудной горе. Чем далее вниз по Амуру, тем более расширяются обширные долины по обеим сторонам ее, и отлогие горы уже виднеются только на дальнем горизонте. Луга покрыты прекрасною травой и могли бы кормить огромные стада; но лишь изредка виднеются юрты очень немногочисленных манегри. Страна остается совершенно пустынною.

27 мая, в 800 верстах от Усть-Стрелки, экспедиция увидела первую деревню на Амуре. Поселение это, называющееся Амба-Сахалян и состоящее из 23 домов, стоит на правом берегу реки. Жители, манджуры, скрылись в ближайший город, узнав о приближении русских; в деревне остались только четыре старика, две старухи и трое молодых людей. Жилища этой деревни — мазанки; при каждой мазанке есть садик и огород.

Несколько далее впадает в Амур с левой стороны большая река Зей, долина которой некогда была занята русскими, подобно албазинской местности. По Зее, текущей почти на тысячу верст, выстроены были козаками четыре острожка; вся долина ее очень плодородна.

В 30 верстах от устья Зеи построен, на правой стороне Амура, город Сахалян-ула-Хотонь, единственный город на всем течении Амура. От Зеи до города тянутся частые поселения, каждое из нескольких домов, очень широко раскинутых друг от друга, как и всегда у амурских тунгусов. Экспедиция достигла Сахаляна 28 мая. Часть экипажа отправилась в город. Начальник принял русских дружелюбно, но на берегу была собрана вся его военная сила — 1 000 человек. Солдаты эти держали длинные колья с заостренными концами, так что могли считать себя имеющими пики. У иных кольев острые концы были вычерчены, для совершенного сходства с железным наконечником пики; кроме кольев, вооружение составляли луки. У немногих были неуклюжие сабли и ружья. Кроме того, было вывезено на берег десять пушек, и при каждой стоял солдат с чем-то длинным, имевшим форму фитиля, но действительно ли то были фитили, или просто палки, за отдаленностью пушек нельзя было рассмотреть. В город наших просили не ходить, потому что за допущение иноземцев начальник был бы наказан правительством. В гавани стояло до 35 больших лодок. На 30 верст ниже города по берегу тянутся села, в том числе одно большое. Однако и тут берег населен слабо, а в других местах совершенно пустынен.

Ниже Сахаляна характер растительности напоминает среднюю полосу Европейской России. Почва — богатый чернозем.

Ниже устья Буреи (впадающей в Амур с левой стороны, в 1 084 верстах от Усть-Стрелки) горы снова подходят к реке и оканчивают собою равнинное побережье, тянувшееся слишком на 300 верст; наконец они стесняют самое русло реки, так что Амур, имевший прежде 2—3 версты ширины, суживается до 300 сажен и течет как бы по коридору из гор. Местность эта чрезвычайно живописна. Горы покрыты роскошною растительностью. По берегам изредка стоят юрты тунгусского племени гольдинцев. На 120 верст тянутся горы, потом опять расстилаются по берегам обширные равнины, до устья огромной реки Сунгари (козаки звали ее Шингалом), которая едва ли не больше самого Амура, — по крайней мере, китайцы называют Сунгари главной рекою, а Амур ее притоком. До Сунгари от Усть-Стрелки 1 425 верст. Страна, по которой протекает эта река, очень плодородна, и поселившиеся на Амуре добывали хлеб грабежом у населения, жившего по Сунгари. Это было главною причиною восстания, уничтожившего козацкие поселения.

Близ устья Сунгари река опять сжимается горами; далее на 185 верст тянется широкая плодородная долина. Русло реки дробится на несколько рукавов частыми островами.

При устье Усури, большой и глубокой реки, чрезвычайно богатой рыбою и впадающей в Амур с правой стороны, опять подходят к реке горы. Далее снова тянется до краев горизонта долина. Тут, 7 июня, лодка с баржею, на которой плыл г. Перми-

кин, увлечена была быстротою течения в один из рукавов, образуемых островами, между тем как пароход с остальными лодками пошел по другому руслу, так что г. Пермикин присоединился к пароходу уже на другой день, в том месте, где все рукава соединяются в одно русло. Сильная буря, которую он выдержал 7 июня, заставляет его предполагать, что осенью Амур должен быть очень бурен, если и летом подвергается таким ветрам. Ночь он провел в довольно большой деревне тольдов, которые показались ему добродушными и чрезвычайно честными: у их амбаров нет ни замков, ни запоров — видно, что они не имеют понятия о воровстве. Далее живут мангунцы, другое племя тунгусов.

15 июня экспедиция достигла Мариинского поста, в 2 399 верстах от Усть-Стрелки. В этих местах берег горист. Ниже Мариинского поста живут гилаки, которые, подобно мангунцам, кормятся звероловством и рыболовством.

Изобилие рыбы в нижней и отчасти средней части Амура удивительное. Берега реки в нижней части ее течения гористы и покрыты лесом.

В «Летописи» Сибирского отдела напечатаны отчеты о его состоянии и действиях с 21 мая 1852 года по то же число 1853 и с 21 мая 1853 по то же число 1854 года. К 21 мая [1854] года членов Сибирского отдела считалось 102; из них 42 жили в Иркутске, остальные по различным местам Восточной Сибири. Движение денежных сумм отдела было:

	В 1852—1853 г.		1853—1854 г.	
Остаток от предыдущего года . . . . .	1 901 руб.	54 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> коп.	3 648 руб.	91 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> коп.
Пособие от казны . . . . .	2 000 »	— »	2 000 »	— »
Взносы членов . . . . .	881 »	— »	509 »	60 »
<b>Всего . . . . .</b>	<b>4 782 руб.</b>	<b>54<sup>1</sup>/<sub>4</sub> коп.</b>	<b>6 158 руб.</b>	<b>51<sup>1</sup>/<sub>4</sub> коп.</b>
Израсходовано на выписку книг, покупку инструментов и проч.	809 руб.	44 коп.	141 руб.	55 коп.
На канцелярские расходы	344 »	19 »	460 »	64 »
На Вилюйскую экспедицию . . . . .	— »	— »	4 887 »	22 »
<b>Всего [1 153 руб. 63 коп. 5 489] руб. 41 коп.</b>				

Библиотека Сибирского отдела к 21 мая 1854 года состояла из 742 томов. Географических атласов она имела 40 номеров. Кроме того было уже положено основание Археологическому музею (102 номера свитков и старинных дел), Этнографическому музею (20 рисунков) и физико-математическому кабинету (35 инструментов).

Столетие «Московских ведомостей» (1756—1856) Е. Корша.  
Москва. 1857

После «Академических с.-петербургских ведомостей» «Московские ведомости» — старейшее из русских периодических изданий. С давнего времени (конечно, с Новикова) они из всех наших изданий самое распространенное в провинциях, лежащих около Москвы и за Москвою. В средней и южной полосе России есть много уездов, которые почерпают пищу для своей умственной жизни исключительно из «Московских ведомостей». Точные цифры печатаемых экземпляров того или другого журнала, той или другой газеты, конечно, никому неизвестны, кроме нескольких людей, принадлежащих к редакции или конторе этого издания, — у нас уж такая привычка, что мы все стараемся покрыть непроницаемым туманом, — мы воображаем, что облекать все тайной — очень полезное дело. Но приблизительная цифра экземпляров каждого периодического издания может быть, несмотря на весь этот туман, легко угадана. В настоящее время, не делая большой ошибки, можно сказать, что «С.-Петербургские ведомости» расходятся в числе экземпляров, почти вдвое больше, нежели самые распространенные в публике из наших журналов, а «Московских ведомостей» расходится почти вдвое больше, нежели С.-Петербургских. До последней войны «Московских ведомостей» выписывалось около 11 или 12 тысяч экземпляров; во время войны цифра эта приближалась, говорят, к 20 тысячам; по заключении мира она должна была уменьшиться, не опускаясь, однако же, до цифры, бывшей перед войною, так что можно полагать ее в 15 000. Если мы будем держаться этого счета, в котором вероятная ошибка не может превышать 20%, мы получим следующие числа для последних двух лет, когда, надобно заметить, умственная жизнь и потребность чтения возбуждена в гораздо сильнейшей степени, нежели прежде:

4 литературных журнала («Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Современник», каждый от 3 000 до 4 500 экземпляров) все вместе . . . . .	15 000 экз.
4 газеты («Русский инвалид», «Северная пчела», «С.-Петербургские ведомости» — каждая газета от 6 000 до 9 000 экз., и «Московские ведомости» — около 15 000 экз.)	
все вместе . . . . .	35 000 экз.
<hr/>	
Итого . . . . .	50 000 экз.

Считая на каждый экземпляр по 10 читателей (так принято для подобных расчетов в заграничной книжной статистике), мы на 50 000 000 жителей Русской империи, для которых русский язык есть родной язык, получим 500 000 людей, читающих, — и увидим, что в полтораста лет, со времен Петра, один из ста

наших соотечественников уже перешел в число людей более или менее образованных.

Конечно, кроме изданий, вошедших в нашу таблицу, существуют многие другие; но очень многие из читателей, например, «С.-Петербургских ведомостей» в то же время и читатели «Отечественных записок» или «Современника», даже некоторые из читателей «Северной пчелы» в то же время читатели «С.-Петербургских ведомостей» и т. д., и значительное уменьшение общей цифры, происходящее от такого соединения, как мы полагаем, едва ли с большим избытком вознаграждается зачетом в общий итог всех тех людей, которые, не читая ни одного из названных нами изданий, читают какой-нибудь другой журнал, например, «Морской сборник» или «Русскую беседу». Число таких людей не очень значительно.

Чтобы определительнее судить о значении представленного нами итога, сравним его хотя с итогом, представляемым Франциею. Там на 35 000 000 людей расходуется не менее 250 000 экземпляров больших газет и журналов, издаваемых в Париже и соответствующих своим положением в литературе тем изданиям, которые вошли в нашу таблицу. 250 000 экземпляров дают 2 500 000, то есть 7 читателей на 100 человек населения. В Германии и Англии пропорция читателей еще значительнее.

Но статистика читателей в России не есть история «Московских ведомостей», — конечно, скажем же несколько слов о брошюре, заглавие которой привели выше. История «Московских ведомостей», как наиболее распространенного у нас периодического издания, была бы очень интересна. Но брошюра обнимает только первые семь лет издания (1756—1762) — период самый бедный и незначительный. «Московские ведомости» в то время не имели ни оригинальных статей, ни вообще литературного или ученого отдела, — они состояли исключительно из официальных документов и иностранных известий; даже объявлений было мало, и те вовсе не характерны. Большая часть брошюры наполнена историею Семилетней войны, составленною по известиям «Московских ведомостей», то есть по тогдашним русским реляциям и переводам известий из немецких газет. Газета становится более важною только со времени Новикова <sup>1</sup>.

*Для легкого чтения. Повести, рассказы, комедии, путешествия и драмы современных русских писателей.*  
Том V<sup>1</sup>

В этом томе «Легкого чтения» помещены: повесть г. Григоровича «Неудавшаяся жизнь»; «Нянюшка», сцены г. М. Михайлова; «Недосказанная фраза», рассказ И. А. П—ва; «Рыбная ловля», поэма г. Майкова; «Идеалист», повесть г. Станкевича;



«Труженик, признания новейшего Фальстафа», стихотворение г. Н\*\*\*. Особенного внимания читателей заслуживает первое из этих произведений, которое до сих пор еще не было напечатано и является на свет в первый раз в «Легком чтении». Шестой том этого издания, который скоро выйдет, будет заключать в себе: повесть г. И. И. Панаева «Прекрасный человек»; рассказ Д. В. Григоровича «Смедовская долина»; повесть Н. Н. Станицкого «M-lle Appette»; комедию И. С. Тургенева «Провинциалка»; рассказ Я. П. Полонского «Груня»; рассказ г. А. Печерского «Поярков»; два стихотворения А. А. Фета и семь стихотворений Н. В. Берга.

< ИЗ № 5 «СОВРЕМЕННОГО» >

**Сочинения В. Жуковского. Издание пятое. Томы X, XI XII и XIII. Спб. 1857<sup>1</sup>**

Художественное и историческое значение поэтических произведений Жуковского давно определено с достаточною точностью. Но нельзя того же сказать о двух других, не менее важных сторонах его деятельности. Первая из этих еще мало исследованных сторон — влияние Жуковского, как человека с данным настроением души и образом мыслей, на характер произведений некоторых наших замечательных писателей, находившихся с ним в тесной дружбе, особенно на Пушкина и на Гоголя, в последние годы их жизни. Четыре дополнительные тома его сочинений, напечатанные ныне по высочайшему повелению, представляют довольно многочисленные, хотя, конечно, далеко еще не все, материалы для точнейшего определения этой стороны его исторической деятельности, и тем одним уже заслуживали бы великого внимания, если бы даже и не заключали в себе многих поэтических его трудов, или не бывших до сих пор напечатанными, или бывших рассеянными в старинных журналах. Нет надобности говорить, что каждая строка, написанная таким историческим деятелем, как Жуковский, становится драгоценною для современников и потомства и что «друзья и почитатели В. А. Жуковского», издавшие эти четыре дополнительные тома, заслуживают величайшей благодарности. Надобно теперь желать того, чтобы в возможной полноте издана была корреспонденция Жуковского и составлена была по возможности полная его биография. По отношению его, как человека, к деятельности других наших поэтов и к историческим событиям его жизни и переписка должны представлять множество фактов, драгоценных для истории.

Из четырех изданных ныне томов первый (десятый полного издания) включает посмертные поэтические произведения Жуковского. Из них некоторые, например, два отрывка из перевода «Илиады», «Четыре сына Франции» и «Царскосельский лебедь»,

уже известны публике, бывши напечатаны в различных сборниках и в журналах. Другие, из которых важнейшее — отрывок поэмы «Агасвер, вечный жид», до сих пор оставались в рукописи и потому, при обзоре десятого тома, наше внимание должно сосредоточиться на «Агасвере».

Идея поэмы и художественно-религиозные достоинства ее отрывка, оставшегося нам после смерти Жуковского, превосходно изложены в кратком предисловии к этому отрывку, подписанном буквами Д. Бл., в которых читатель угадает имя одного из друзей Жуковского и сподвижников Сперанского<sup>2</sup>. Вот это предисловие:

«Всею известна, более или менее, легенда о странствующем вечном жиде. Вероятно, что вначале хотели в нем представить судьбу всех евреев, не обратившихся в христианство, и, так сказать, олицетворить в одном человеке остатки народа иудейского, рассеянные по всем странам света, часто гонимые, повидимому, обреченные на истребление, но не исчезающие и сохраняющие упорно свои особенные свойства, характер, верования и самый внешний образ. Мало-помалу сие аллегорическое первобытное значение легенды потерялось: она обратилась в обыкновенную сказку, и принесенная в Европу, как кажется, в начале тринадцатого столетия, переходя из уст в уста, из книги в книгу, была беспрестанно дополняема, украшаема или обезображиваема новыми преданиями и выдумками. В близкие к нам времена и в наше время странствующий жид был также предметом многих повестей, романов и драматических сочинений. Каждый автор изображал сие таинственное лицо и судьбу его согласно с своими видами, с действием, которое он желал произвести на читателей или зрителей. Большею частью, однакож, везде сохраняются главные его черты. Странствующий жид не только не умирает, но как будто и не изменяется, оставаясь вопреки течению веков, даже вопреки очевидности, тем же, чем он был в минуту своего преступления, со всеми прежними заблуждениями, ненавистью, злобой. Но наш незабвенный Жуковский представляет его в своем Агасвере совсем иным, преобразованным благодатию существом. Целью поэта, основною идеею его творения было, как он сам говорил, сделать род апофеоза страданий и несчастия, показав, как оно благотворно действует на душу, довольно твердую, чтобы не упасть под бременем зол, и особливо не зараженную неизлечимым чувством гордости.

«Все здесь на пользу, и радость, и горсть, хвала жизнедавцу Зевесу!» — сказал Жуковский в другой маленькой поэме, и сия мысль, сия истина, благодаря учению евангельскому, еще сильнее представлена и, так сказать, развита в его Агасвере, который нашел блаженство в страданиях, продолжающихся почти два тысячелетия. Долго волнуемый самыми буйными, как бы воюющими с небом страстями, лишенный всего драгоценного в жизни, оставив за собой могилы семейства своего, внуков и правнуков, он повсюду ищет, просит, требует смерти; наконец уверяется, что лишен и сей последней надежды несчастных, и вдруг, во глубине бездны отчаяния, он озарен божественным светом веры. При виде умирающих святых мучеников, взглядом любви одного из них, душа его потрясена, проникнута... он христианин. И с тех пор его судьба, не переставая для других быть тою же, как и прежде, для него изменяется совершенно, от перемены чувств сердца. Утвержденный в вере возлюбленным учеником спасителя, он познал великую совершающуюся с ним тайну, знает, что произнесенный над ним грозный приговор есть действие непостижимого милосердия, и хотя, как дотоле, чуждый всему в мире и осужденный вечно жить в сем мире, он уже не ненавидит, а любит его и людей. Самое непрерывающееся воспоминание о ужасном преступлении, — участии в богоубийстве — уже не тяготит души его, но, терзая, умиляет ее. В сем состоянии Агасвер, в поэме Жуковского, является пред

другое, почти столь же чрезвычайное историческое лицо, пред того, который равно изумлял вселенную возвышением своим и падением, — императора Наполеона I. Он является в минуту, когда великий сент-эленский узник, изнемогая под двойным бременем своего блистательного прошедшего и безнадежного будущего, бременем уже невыносимым для одних человеческих сил, готов положить конец тоске вместе с жизнью. Чем Агасвер, как должный полагать, удержал его от самоубийства? Повествованием о судьбе своей, ни с чем несравнимой, описанием бывших и настоящих чувств своих, объяснением, чрез собственный разительный пример, загадки наших земных странствий и обязанности продолжать их, обязанности жить. К сожалению, сей рассказ его без конца, и одно из самых замечательных творений Жуковского остается недовершенным. Но и в сем виде, как нам кажется, оно заслуживает общего внимания, особливо по своему нравоучительному и религиозному характеру. О достоинстве чисто литературном сей поэмы мы не будем распространяться. Отдаем ее смело на суд всех умеющих ценить истинно изящное. Заметим только, что талант Жуковского, в сем последнем его произведении, имеет нечто отличное от того, чем мы привыкли пленяться в других его сочинениях. Вместо избыливающего образами и сравнениями, цветущего, почти роскошного поэтического слога, в Агасвере мы находим сию строгую, величественную простоту, которую по справедливости называют классическою. Стихи его напоминают нам слова Ривароля о стихах Данте: «Каждый из них, без всяких посторонних украшений, держится, так сказать, сам собою, одною силою мысли или чувства, и верною, как будто безыскусственную, выражения».

Мы не имеем прибавить ничего лучшего к словам г. Д. Бл. В высочайшей степени оригинальна мысль сопоставить Вечного жидка с Наполеоном, которого отчаяние должен превратить он в покорность промыслу поучительным рассказом о своих бесконечных страданиях и источнике отрады, им вкушаемой. Люди, воображавшие, что Жуковский, хотевший обыкновенно довольствоваться менее блистательною, но не менее полезною ролью переводчика-поэта, не мог быть по своей натуре оригинальным творцом-поэтом, в этой одной концепции его поэмы увидят разительное доказательство того, до какой самобытности мог возвышаться Жуковский, если хотел того. Дух поэмы — высоко христианский, исполненный смирения перед путями правосудно карающего провидения, непостижимыми гордому уму, но постигаемыми во всей благотворности своей сердцу, смиренному страданием и просветленному поучением христианским. Вот отрывок из первой части поэмы, по которому читатели могут судить о поэтических красотах ее. Наполеон, узник острова св. Елены, сидит на скале, омываемой морем; он погружен в раздумье о минувшей славе и могуществе, о долгих мучительных годах предстоящей ему неволи:

... И он затрепетал,  
И всю ему проникло душу отвращенье  
К себе и к жизни; быстрым шагом к краю  
Скалы он подошел и жадным оком  
Смотрел на море, и сно его  
К себе, как будто, звало и к нему  
В своих ползущих на скалу волнах  
Бесчисленные руки простирало.  
И уж его нога почти черту

Между скалой и пустотой воздушной  
Переступила...

В этот миг его

Глазам, как будто из земли рожденный,  
На западе скалы, огромной тенью  
Отрезавшись от пламенного неба,  
Явился некто, — и необычайный,  
Глубоко движущий всю душу голос  
Сказал: «Куда, Наполеон!» При этом зове,  
Как околдованный, он на краю скалы  
Оцепенел: поднятая нога  
Сама собой на землю опустилась.  
И с робостью, неведомой дотоле,  
На подходящего он устремил  
Глаза и чувствовал, с каким-то странным  
Оттолкновеньем всей души, что этот  
Пришелец для него и для всего  
Создания чужой; но он невольно  
Пред ним благоговел, его черты  
С неспостижимым сердца изумленьем  
Рассматривал... К нему шел человек,  
В котором все нечеловечье было:  
Он был живой, но жизни чужд казался;  
Ни старости, ни молодости в чудных  
Его чертах не выражалось; все в них было  
Давнишнее, когда-то вдруг, подобно  
Созданиям допотопным, в камень  
Неумирающий и неживущий  
Преобращенное; в его глазах  
День внешний не сиял, но в них глубоко  
Горел какой-то темный свет,  
Как зарево далекого сиянья;  
Вкруг головы седые волосы  
И борода, широкими струями  
Грудь покрывавшая, из серебра  
Казались вылиты; чело его  
И щеки, бледные как белый мрамор,  
Морщинами крест-накрест были  
Изрезаны; одежда, в складках тяжких,  
Как будто выбитых из меди, с плеч  
До пят недвижно падала; и ноги  
Его шли по земле, как бы в нее  
Не упираясь. Пришелец, приближась,  
На узника скалы вперил свои  
Пронзительные очи и сказал:  
«Куда ты шел? и где б ты был, когда б  
Мой голос во-время тебя не назвал?  
Не говорить с тобой сюда пришел я:  
Не может быть беседы между нами,  
И мыслями меняться нам нельзя.  
Я здесь не гость, не друг, не собеседник;  
Я здесь один минутный призрак, голос  
Без отзыва... Врачом твоей души  
Хочу я быть, и перед нею всю  
Мою судьбу явлю без покрывала.  
В молчаньи слушай. Участи моей  
Страшнее не было, и нет, и быть  
Не может на земле. Богообидчик,  
Проклятью преданный, лишенный смерти,

И с смертью жизни, вечно на земле  
Бродить приговоренный и всему  
Земному чуждый, памятью о прошлом  
Терзаемый, и в области живых живой  
Мертвец, им страшный и противный,  
Не именующий здесь никого  
Своим и, что когда любил на свете,  
Все переживший, все похоронивший,  
Все пережить и все похоронить  
Определенный; нет мне на земле  
Ни радости, ни траты, ни надежды!  
День настает, ночь настает — они  
Без смены для меня; жизнь не проходит,  
Смерть не приходит; измененья нет  
Ни в чем; передо мной немая вечность,  
Окаменевшая живое время;  
И посреди собратий бытия,  
Живущих радостно иль скорбно, жизнь  
Любящих, иль из жизни уводимых  
Успокоительной рукою смерти,  
На этой братской трапезе созданий  
Мне места нет; хожу кругом трапезы  
Голодный, жаждущий, — меня они  
Не замечают; стражду, как никто  
В сем мире не страдал; мое ж страданье  
Для них не была, а вымысел давнишний,  
Давно рассказанная детям сказка.  
Таков мой жребий. Ты, быть может,  
С презреньем спросишь у меня: зачем же  
Сюда пришел я, чтоб такой  
Безумной басней над тобой ругаться?  
Таков мой жребий, говорю, для всех  
Вас, близоруких жителей земли.  
Но для тебя моей судьбины тайну  
Я всю вполне открою... Слушай».

Второй дополнительный том (XI полного издания) заключает в себе «Посмертные сочинения в прозе». Из них, если не ошибаемся, только статьи «О меланхолии в жизни и в поэзии» и «Нечто о привидениях» были до сих пор напечатаны; остальные в первый раз делаются известными публике настоящим изданием. Из них мы обратим внимание на те, которые особенно характеризуют Жуковского в последние два десятилетия его жизни, когда он, как человек, имел сильное влияние сначала на Пушкина, а потом еще сильнее на Гоголя<sup>3</sup>.

«Размышления и замечания» — помещенные на 1—84 страницах одиннадцатого тома — краткие, задушевные заметки о мыслях, занимавших ум и сердце Жуковского как человека. В них он беседует с читателем не только как наставник, но и как друг. Все они внушены настроением души к божественному и небесному, все проникнуты христианским воззрением, рассматривающим каждое явление по отношению его к идее всеобщего и премудрого промысла божественного. Всех этих «размышлений и замечаний», напечатанных ныне, двадцать одна статья. Из них

мы приводим вторую и третью, тесно связанные между собою. При всей своей краткости они вполне могут служить высокими образцами благочестивой прозорливости, осенявшей душу мудрого старца, просветленного непоколебимым упованием на всеблагий промысел божий.

«Я читал в «Journal des Débats» описание несчастья, случившегося с ребенком. Он прыгал с копны сена; внизу в сене торчали вилы; ребенок их не заметил, прыгнул и наткнулся на вилы, которые прокололи его внутренность. Спасти его было нельзя, ибо зубца вил нельзя было вынуть из тела, он был с заворотом, наподобие острия удочки; ребенок был должен умереть в жесточайшем мучении. Как изъяснить это ужасное событие в смысле провидения? Для ребенка оно положительное зло, без всяких благих последствий; он должен был проработать несколько часов, а может быть, несколько дней, и все тут; и жизнь его, не развитая ничем человеческим, кончилась вдруг страдальческим перерывом. Как согласить это с мыслию, что беды житейские должны быть нам в пользу? Кому здесь польза от сего страшного мучения, обратившего минуты в годы и постигшего душу, не имевшую ни сил для его перенесения, ни способности для извлечения из него высокой нравственной пользы? Где же благодать промысла? Можно ли обрести ее в этом страдании, посланном без видимой цели и пользы и падшем на создание непорочное, бессильное, не приготовленное ни снести его, ни благословить в нем того, кем оно послано? Ответ на все это простой. Мы должны не по событиям судить промысел божий, а события по промыслу божию. В одних он нам является во всей своей благодати, в других мы не видим своими слепыми глазами этой благодати. В обоих случаях, как и во всем, мы должны смириться. Но живой бог существует; он действует самобытно и вполне во всякое мгновение времени, во всяком атоме и для всякого атома в пространстве, действует без раздела, вполне, всевластно, следовательно во благо — следовательно во всем должны мы видеть блага, не потому, что это благо нам ясно, а потому, что все истекает от бога, ч явное благо, называемое нами добром, и неявное, которое нам кажется злом.

«Счастливы тот, кому господь пошлет рано, а не поздно, тяжкие испытания. Он заранее узнает свои силы и свое бессилие; и в обоих случаях окрепнет, научась опытом действовать по воле божией. Единственное, чему мы должны и чему можем в совершенстве здесь научиться, есть *добровольное повиновение*. В этом добровольном повиновении заключается все человеческое достоинство и вся его свобода. Мы сами никакого добра себе дать и никакого добра творить не можем: всякое добро нам дается; но быть покорными богу, творцу, источнику и подателю добра, во всякое время (с блаженным ли чувством любви, или без ощущения сего блаженства, по влечению ли воли, или против влечения воли), нам возможно, это *единое наше*. Счастливы тот, кого жизнь заранее приучала к покорности, кто в младенчестве получил привычку принимать с благоговением волю родителей и ей предаваться безусловно, кто мало-помалу мог понять все благо ее спасительной строгости и кто из детских лет перенес в юношеские лета эту привычку признавать неотрицаемость верховной власти, которая из образовательной, приготовительной, отеческой обращается в спасительную, искупительную, божию, в то время, когда он вступит на дорогу самостоятельной, деятельной жизни, для страшных встреч и тяжелых борений. И вдвое счастлив он, если эти встречи и борения начнутся для него в начале дороги, когда еще его силы свежи и когда еще не вкоренилось в нем никаких вредных на счет себя самого заблуждений, а не при конце ее, когда силы иссякли и когда так ужасно, так бесполезно вдруг очнуться из заблуждений, столь усыпительно его баловавших во все продолжение ленивой, никакими тревогами не приводимой в движение, жизни».

Тем же духом христианского прозорливого благочестия исполнены и три письма к Гоголю, напечатанные на 123—176 страницах этого тома. В первом Жуковский извиняется, что не прислал еще обещанных замечаний на книгу Гоголя, — он был расстроен близкою сердцу утратою, потому и не мог писать. Но он, говорит, нашел сладкое утешение в уповании на милость промысла, — и, как христианин, уповающий на промысел, находит причину духовной радости в том, что казалось бы горьким ударом сердцу, не укрепленному верою, что мнимые бедствия наши и ближних наших только кажутся бедствиями неразумному, но являются источником смиренного радования для мудрого христианина.

«Пока мы сами еще не испытали никакой болезненной утраты, мы с удивлением слушаем голос спасителя, исходящий нам из евангелия, и можем мыслию постигать великое значение человеческой жизни. Но когда над нами самими совершается удар свыше, сколь более делается тогда понятен сердцу этот евангельский голос! Уже не в листах книги мы ищем тогда спасителя, он сам нас находит, он сам становится к нам лицом к лицу; ценою бедствия покупаем мы лицезрение бога. Но дорога ли эта цена в сравнении с тем сокровищем, которое мы за нее приобретаем? Все это я прежде думал; теперь я это видел, и опыт близкою мне сердцу сделался моим собственным опытом. Я видел и слышал отца в ту минуту, когда закрылись глаза его любимой дочери, отца-христианина. Но здесь всего проще повторить его слова, сказанные им своей семье в первую минуту горькой утраты: «Великое дело милости божией над нами совершилось; *мы своими глазами видели*, как наша милая дочь перешла к небесному отцу своему; она принесла ему чистую, ничем житейским непотревоженную и с ним примиренную душу. И теперь мы знаем, что ей дано все то, чего бы никакою силою нашей любви мы не могли ни дать, ни сохранить ей в здешней жизни. Мы знаем, что это данное навсегда ей останется, что превратности жизни для нее миновались, что для нее уже нет ничего неверного: ни страха в настоящем, ни тревоги за будущее. Мы можем только благодарить и славить. И после такого ясного узнания милости неизреченной, не позволим себе никогда ни пожалеть, что она от нас взята, ни пожелать, чтобы она была с нами. Будем смирны, и чтобы наше горе никогда не пресияло нашей теперешней радости, за себя будем покорны, за нее радостны и благодарны».

Во втором письме Жуковский начинает делать обещанные замечания на книгу Гоголя (дело идет о втором издании первого тома «Мертвых душ» с известным предисловием и о «Переписке с друзьями») и между прочим говорит, что напрасно не посоветовал Гоголю уничтожить «Завещание» и переделать предисловие.

«Тебе крепко досталось от наших строгих критиков, и я, признаться, попенял самому себе за то, что в одном случае не предохранил тебя от их ударов, тем более чувствительных, что они поделом тебе достались; внию себя в том, что не присоветовал тебе уничтожить твоё *завещание* и многое переправить в твоём *предисловии*. Когда ты мне читал то и другое, имея тебя самого перед глазами, я был занят твоею личностью и, зная, как все мною слышанное было искренним выражением тебя самого, зная, как ты далек от всякого самохвальства, от всякого смешного самобоготворения, я находил привлекательным то, что после, когда (вместо самого автора)

явилась передо мною мертвая печатная книга и воображению моему представилась наша читающая публика, сидящая чином на креслах и стульях кругом чтеца, и в арриергарде фаланга журналистов, вооруженных дреколем порицания и крючьями придирки, то многое, мне прежде показавшееся столь привлекательно оригинальным, представилось странным и неприличным».

Но скоро от этих замечаний Жуковский переходит к благочестивым размышлениям о силе и действии молитвы, которые и составляют главное содержание длинного письма. В третьем письме Жуковский рассуждает о значении поэтического слова, как провозвестника мудрости божией, и поэте, как слугителе истины, откровенной богом.

Читатели без труда видят, как тесно связано направление души, господствовавшее у Жуковского и выразившееся между прочим этими размышлениями и письмами, с тем назидательным настроением души, которое в последнее время жизни обладало Гоголем. Нет никакого сомнения, что беседы, письма и советы Жуковского, который был ближайшим к Гоголю человеком в долгие годы, проведенные Гоголем за границею, — Жуковского, мнения и советы которого Гоголь высоко ценил уже и потому, что Жуковский был посредником между им и высшими сферами жизни, и потому, что Жуковский заслуженно пользовался высоким уважением от всех, чьими чувствами дорожил Гоголь, и потому, наконец, что Жуковский был образованнее его, — нет никакого сомнения в том, что беседы, письма и советы Жуковского имели очень сильное участие в развитии созерцательно-христианского направления, которому преданся Гоголь.

Но Жуковский никогда не делал таких странных промахов, как Гоголь, которого можно назвать, в известном смысле, его учеником. Гоголь издал книгу, которая привела всех в изумление, очень неблагоприятное для автора, — Жуковский при жизни никогда не печатал ничего такого, что не было бы встречаемо похвалами. Одною из причин этой разницы между учителем и последователем была образованность Жуковского, удерживавшая его от таких выводов, которые могли бы не понравиться образованным людям. Образованность имеет чрезвычайно благотворное влияние на все направления сердца, она улучшает хорошее, она делает менее дурным дурное. Другая причина разницы, еще более важная, заключалась в самых темпераментах этих двух людей. Жуковский, хотя идеалист, отличался вообще мягкостью, можно сказать, умеренностью характера, не допускавшею его ни до каких крайностей и неловкостей. Гоголь по натуре своей был энтузиаст, не отступавший ни перед чем в эпоху увлечения.

Вообще, мы довольно мало знаем об отношениях замечательных людей нашей изящной литературы к общественным вопросам, имеем очень мало сведений о том, как смотрели они на современные им стремления; почти единственными материалами в этом случае служат нам их поэтические произведения — источ-



ник односторонний и большею частью скудный, почти всегда недостаточно определительный, потому что поэтическая форма обыкновенно обобщает и идеализирует воззрение. Тем драгоценнее становятся сочинения поэтов прежнего времени, которые прямым и положительным образом знакомят нас с их образом мыслей. В XI томе мы находим несколько таких статей; из них важнейшие: «О смертной казни», «Письмо к графу Ш. о происшествиях 1848 года», «Иосиф Радовиц, биографический очерк»<sup>4</sup>. Статья «О смертной казни» показывает, как хорошо умел примирять Жуковский требования строгого человеческого правосудия с высшими требованиями христианской любви. Она полна воззрения величественного и обнаруживает замечательную силу логики вместе с глубоким знанием потребностей общественного быта. Как прекрасное свидетельство того, что идеализм и возвышенность чувств не мешают практической основательности, мы приводим ее здесь вполне. Читатели, вероятно, помнят, что пять или шесть лет тому назад казнь преступников Маннингов в Лондоне подала случай английским филантропам, отличающимся более эксцентричностью, нежели практичностью своих идей, с удвоенною силою возобновить старинные возражения против смертной казни, — возражения, убедившие императрицу Елисавету Петровну отменить смертную казнь за уголовные преступления. Жуковский, как глубокий мыслитель, оценивает по достоинству эти возражения и предлагает средство устранить их, не уничтожая смертную казнь, которую признает грустною необходимостью, а изменяя приличным образом способ ее исполнения:

«Конечно, никто не читал без ужаса подробного описания казни, совершившейся в Лондоне над Маннингами, мужем и женой. По поводу этой казни были самые отвратительные сцены разврата и скотства в бесчисленной толпе всякого народа, собравшегося полюбоваться зрелищем конвульсий, с какими кончили жизнь на виселице злодеи. Эти сцены подали повод некоторым филантропам для новых декламаций против смертной казни. И вместо того, чтобы нападать на уродливое, варварское, отвратительное совершение казни, начали нападать на самую казнь, которая не иное что, как представитель строгой правды, преследующей зло и спасающей от него порядок общественный, установленный самим богом. Говорят: «Смертная казнь бесполезна, ибо она никого не пугает, никого не воздерживает от злодейства, не исправляет злодея неоткрытого, а злодея осужденного лишает возможности исправления». — Смертная казнь, как угрожающая вдали своим мечом Немезида, как страх возможной гибели, как привидение, преследующее преступника, ужасна своим невидимым присутствием, и мысль о ней, конечно, воздерживает многих от злодейства. Но зрелище смертной казни — такое зрелище, каким обыкновенно забавляют (это слово здесь у места) праздный народ, столь жадно ищущий сильных, чувственных потрясений, отвратительно само по себе, безнравственно по своему впечатлению и не только не исполняет своей цели, то есть не ужасает, не остерегает, не пробуждает совести преступника тайного и не воздерживает человека, способного на явное преступление, напротив, делает, так сказать, привлекательною потехою ужас казни, которая для зрителей получает занимательность трагедии, а для казненного уничтожает спасительное действие на душу последней его минуты, заставляя его кокетствовать перед людьми своею фальши-

вою неустрашимостью и отвлекая его от мысли о боге, перед судилище которого он должен явиться так скоро. И здесь, как и во всем, причина зла заключается в отсутствии святого, то есть в отсутствии того животворного элемента, без которого все земное не иное что, как минутное, мимопроходящее и, наконец, совершенно исчезающее физическое явление. Эшафот, на котором совершается смертная казнь, есть место, где неумолимое земное правосудие казнит преступление, а божие милосердие принимает в свое лоно кающуюся душу. Отлучите последнее от первого, и спасительно-грозный, величественный акт земной казнящей правды, жертва, всенародно приносимая правде небесной, обращается в отвратительную оргию толпы. Из тысяч охотников, сбжавшихся на публичный праздник казни, конечно, не более десяти (и именно таких, для которых подобное зрелище менее нужно, ибо они менее других способны на злодеяния) возвращается с растроганным сердцем, с высокою мыслию о жизни, правде и смерти; на всех остальных зрелище производит действие более или менее безнравственное и вредное. И оно не может быть иначе. Что отвратительнее этой виселицы, на которой несколько минут бьется в конвульсиях живой человек и на которую глядит толпа, с любопытством ожидая, как этот живой движущийся сделается мертвецом неподвижным. Еще отвратительнее французская гильотина: тут все поражающее душу исчезает; человек, создание божие, отдается во власть машины, которая безжалостно, как представитель неумолимого, бесчувственного фатума, режет ему голову; несколько палачей, рабов машины, укладывают ее работу в короб, смывают с нее кровь, которой ручьи, пробираясь по камням мостовой, мало-помалу втекают в каналы, мешаются там с грязью, — и все кончено; толпа расходится, и каждый равнодушно принимается за свою ежедневную работу. Где в этих зрелищах святое? Где тут бог, его правда, святыня власти, им установленной, величие и сила закона? Все уничтожается материальностью самого акта, которого ужас производит даже какое-то приятное, чувственное раздражение, будучи общим пиром многочисленной толпы. Что же делать, спросите вы? Уничтожить казнь? Нет! Страх казни есть то же в целом народе, что совесть в каждом человеке отдельно. Не уничтожайте казни, но дайте ей образ величественный, глубоко трогающий и ужасающий душу; удалите от ее совершения все чувственное; дайте этому совершению характер таинства, чтобы при этом совершении всякий глубоко понимал, что здесь происходит нечто принадлежащее к высшему разряду, а не варварский убой человека, как быка на бойне; сделайте, чтобы казнь была не одним механическим действием общественной машины, или просто арифметическим вычитанием одной цифры из общей суммы; сделайте, чтобы казнь была не одним актом правосудия гражданского, но и актом любви христианской; чтобы она, уничтожая преступника, врага граждан, возбуждала сострадание к судьбе его в сердцах его братьев, чтобы его земная погибель была общим горем, чтобы всякий видел, что неумолимое правосудие, заботясь о сохранении порядка общественного уничтожением его возмутителя, не менее заботится о спасении души осужденного; наконец, главное, сохраните для вечности душу несчастного, которого закон ваш убивает во времени, дав ему возможность взглянуть с умилением в глаза неизбежной смерти, и помогите смягчиться душе его для покорности и покаяния. Но как это сделать? Средство простое. Совершение казни не должно быть зрелищем публичным; оно должно быть окружено таинственностью страха божия. Место, на котором совершается казнь, должно быть навсегда недоступно толпе; за стеною, окружающей это место, толпа должна видеть только крест, поднимающийся на главе церкви, воздвигнутой богу милосердия в виду человеческой плахи. Эта неприступность будет действовать на душу зрителя (ничего не видящего, но все воображающего) гораздо сильнее, и в то же время гораздо спасительнее и нравственнее всех конвульсий виселицы и криков колесованья. С той минуты, как преступник осужден и принял свой приговор от суда человеческого, он должен считаться принадлежащим одному суду божью: его последние минуты, как для спасения души его, покидающей землю, так и для

благотворного поучения на земле остающимся, должны быть освещены религиозно. Смягчится ли его сердце или нет — это в руке божией; но человеческий закон должен оправдать совершаемое им человекоубийство всеми заботами о небесной судьбе своей земной жертвы; через это и самая казнь получит знаменование высокое — праведного воздаяния, иначе она не иное что, как безжалостное кровопролитие. Казнь преступника должна возбудить в ее свидетелях не один страх наказания (которого, впрочем, она не возбуждает в своем теперешнем отвратительном виде); она должна возбудить все высокие чувства души человеческой: веру, благоговение перед правдою, сострадание, любовь христианскую. Рассмотрим ближе наш предмет: преступник осужден на смерть, и день, в который он должен покинуть землю, объявлен ему; этот день возвешен и народу. Пускай накануне этого дня призовут христиан на молитву по церквам о душе умирающего брата, пускай во всех церквах слышится голос христиан, умоляющих бога, чтобы грешник, приступая к концу своему, с ним примиренный, принял смерть с покаянием на очищение души своей и чтобы милосердие божие не отвергло души его. Такое призывание на молитву будет сильно и нравственно действовать, ибо тут молитва не просто богослужебный обряд, но и глубоко потрясающее душу приготовление к важному событию, которое должно на другой день совершиться; не может быть, чтобы она кем-нибудь или по крайней мере большинством не была услышана, не была произнесена с тем чувством, которое оставляет неизгладимые следы на сердце. Между тем внутри темницы, и позже, на месте казни все должно иметь характер примирительно-христианский. Осужденный знает, что он не будет предан на поругание любопытной толпы, что он из уединенной темницы перейдет через церковь в уединение гроба; эта тревога, столь многих приводящая к отчаянию и к самоубийству, не раздражает души его; он оставлен на произвол собственного размышления, которое лучше всего приготовит его к присутствию божью на последней исповеди. Если же он и не смягчится в эти первые минуты, в которые надобно ему вдруг познакомиться с непонятною, приводящей в ужас, в оцепенение мыслью о скором и неизбежном конце жизни, то, вероятно, при переходе от тюрьмы к церкви, где встретит его чаша примирения, произойдет в нем этот спасительный душевный перелом скорее и решительнее, нежели в присутствии толпы, развлекающей, стыдящей и оканяющей душу своим оскорбительным любопытством; на пути от церкви к месту казни он будет провожаем пением, выражающим молитву о его душе, и это пение не прежде умолкнет, как в минуту его смерти. И когда это будет совершаться внутри ограды, вокруг которой, конечно, будут собраны толпы народа, двери этой ограды будут заперты: из-за нее будет слышно только одно умоляющее пение. Не будет кровавого зрелища для глаз; но будет таинственное, полное страха божия и сострадания человеческого для души. И какое зрелище! Никакими глазами не увидишь того, что в одну такую минуту может показать душе воображение. А когда пение вдруг замолчит — что представит себе это растроганное воображение? И с каким впечатлением разойдется толпа, которая видела перед собою наказующую смерть во всей таинственности ее ужаса и не была развлечена никаким всенародным представлением, всегда увеселительным, сколь бы оно ни было ужасно? Такой образ смертной казни будет в одно время и величественным актом человеческого правосудия и убедительной заповедью для нравственности народной».

Но, как человек образованный и не позволявший себе вдаваться в крайности, Жуковский умел делать уступки в частных случаях тем требованиям времени, которым противиться было бы неблагоразумно по его мнению. Так, например, в 1850 году он считал нужным для немецких правительств сделать некоторые

пожертвования в пользу германского единства, хотя, конечно, это единство противно его общему убеждению о неприкосновенности тех прав, часть которых была бы пожертвована для достижения этого требования, казавшегося тогда еще непреодолимым.

В XII томе собраны мелкие стихотворения и басни, напечатанные в разные времена Жуковским, но не внесенные им в «Полное собрание сочинений», изданное при жизни. Мы заметим переводы лирических пьес из Гете, которые могли бы, нам кажется, с честью стоять подле переводов, принятых в «Собрание» его сочинений.

В XIII томе (четвертом дополнительном) помещены различные статьи в прозе, напечатанные Жуковским при жизни, но также не внесенные им в «Собрание сочинений».

Затем остаются еще некоторые стихотворения Жуковского из первой поры его деятельности (1797—1811), которые поэт впоследствии считал, повидимому, недостойными своего таланта. Издатели перечисляют их в предисловии, но не захотели внести в изданные теперь четыре тома. Они обещаются сделать это при следующем издании, которое будет расположено ими в хронологическом порядке. Нельзя не согласиться с ними, что так и надлежит сделать: сам Жуковский мог ценить одни, мог не ценить другие из своих произведений, но история литературы должна дорожить каждой строкой, им написанною.

Нельзя не радоваться тому, что друзья Жуковского не словами, но и на деле чтут память своего покойного друга, и нельзя не благодарить их за заботливость, с которою они собирали и издали его произведения.

## Отчет правления Одесского женского благотворительного общества за 1856 год. Одесса. 1857

Одесское женское благотворительное общество<sup>1</sup> располагало в 1856 году, как видим из его отчета, довольно значительными суммами. При остатке от 1855 года в 6307 руб. 08 коп., оно имело дохода 26 794 руб. 66½ коп., всего до 31 281 руб. 74½ коп. Главными источниками дохода были:

Плата за лавки, принадлежащие обществу . . . . .	3 004 руб.
Продажа игральных карт . . . . .	2 019 »
Пожертвования денег и исков . . . . .	1 879 »
Ежегодный взнос от членов общества . . . . .	969 »
Маскарадный бал . . . . .	1 393 »
Пожертвование и другие доходы особенного комитета для вспомоществования бедным жителям Одессы .	10 760 » *

\* Доходы этого вновь учредившегося комитета составились из пожертвований (между которыми важнейшими были: от княгини Е. К. Воронцовой 1 406 руб. 58 коп. и от неизвестного 1 000 р. сер[ебром]) и от спектаклей в пользу бедных.

Израсходовано было в 1856 году 20 852 руб. 27 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> коп., и, судя по отчету, деньги эти были израсходованы не понапрасну, не пропали между рук, на канцелярские расходы и т. п., как то иногда бывает с другими благотворительными обществами. Именно на эти деньги содержались в течение года: сиротский дом, в котором 1 января 1856 г. было 90 воспитанниц, а к 1 января 1857 года — 93 воспитанницы и, кроме того, 15 младенцев, и дом призрения престарелых, в котором 1 января 1856 г. было 15, а к 1 января 1857 года — 18 престарелых вдов и увечных девиц. Кроме того, вновь учрежденный комитет «Попечения о бедных», начавший свои действия с 1 ноября 1856 года, в течение двух последних месяцев года оказывал пособие 1 423 семействам, именно: хлебом продовольствовал комитет все эти семейства, сверх того, из числа их отоплением — 410, горячею пищею — 69, теплым помещением и ночлегом — 56, теплым одеяньем и обувью — 143 семейства; медицинским пособием оказана была помощь 25 семействам или лицам; отправленьем на родину — 6, уплатой долгов за квартиры — 9, временною денежною выдачей — 8, помещеньем в сиротское заведение — 4, задельною платою — 175, поденною работою на участке сиротского дома — 56 семействам или лицам.

Эти цифры, особенно для начала, прекрасны; одесские дамы могут гордиться ими. Редкий из наших городов может выставить такие отрадные факты. Дай бог, чтобы благое начинание возрастало и впредь, как возрастало в прошедшем году.

Мыслью об этом возрастании хотим мы воспользоваться, чтобы сказать несколько слов о различных способах благотворительности.

Из различных способов, существующих для облегчения нужд бедного класса, у нас в России употребительны очень многие. Издавна предки наши славились тем, что подавали щедрую милостыню нищим. Этот патриархальный способ вспомоществования вышел или почти вышел из употребления между людьми, живущими на европейскую ногу, но у людей, сохраняющих старинные обычаи, удержан, можно сказать, во всей силе. Тюремные замки наши постоянно снабжаются обильными пожертвованиями съестных припасов и даже белья, преимущественно от купцов. Вместо прямого подавания по грошу каждому просящему под окнами и у дверей, люди высшего тона устраивают балы, музыкальные вечера, спектакли, лотереи в пользу бедных, как на Западе, а потом раздают оставшиеся за расходом праздника деньги в виде одновременных пособий целыми рублями, даже целыми десятками рублей нуждающимся. Существуют, наконец, у нас в некоторых (если не ошибаемся, еще немногих) городах и постоянные благотворительные общества, которые, кроме одновременных пособий, или даже пенсий нуждающимся, содержат на свой счет училища для сирот, богадельни для престарелых и увечных, больницы.

Все это прекрасно, но всего этого еще слишком мало. Благотворительные общества у нас еще слишком малочисленны и располагают еще слишком малозначительными средствами. Притом же многие отрасли общественной благотворительности совершенно еще не употребительны.

В Западной Европе поступают не так. Там вспоможения обращаются не только на людей обнищавших и голодных, но также и на то, чтобы предотвращать, по возможности, обнищание и голодность. Человек, не дошедший до нищенства, имеющий средство добывать своим трудом хотя сколько-нибудь денег, не должен искать пособий в роде тех, какие заменили старинную милостыню; но он часто нуждается столько же, как и настоящий нищий, — и общество может облегчить его положение весьма значительным образом, нисколько не затрагивая его благородной гордости, не принося с своей стороны почти никаких жертв для облегчения его участи. Он не хочет принимать вспоможений, он хочет довольствоваться тем, что приобретает честными трудами своими, — но общество может очень легким, почти безубыточным для себя образом доставить ему средство улучшить свой быт, сделав экономию в необходимейших его расходах.

В жизни бедняка в нашем климате четыре главные расхода: на квартиру, на отопление, на пищу и на платье; бедняки южных стран почти не знают одной из этих тяжелых статей, меньше чувствуют и тяжесть других: им гораздо меньше нужно отопления, им нет такой нужды в теплой одежде, им нет такой нужды и в уютной квартире — они гораздо больше времени могут проводить на воздухе, — им, наконец, и пищи нужно меньше, нежели в нашем климате. Все это доказывает, что наши бедняки более нуждаются в заботливости общества, нежели бедняки других стран.

Но мы начали говорить о тех средствах предупреждения нищеты, которые, будучи очень употребительны на Западе, почти вовсе неизвестны у нас. Мы имели при этом в виду действия благотворительных обществ, которые ограничиваются почти исключительно городами, — потому говорим о нуждах городского населения [помочь сельскому населению при его многочисленности в состоянии только законы, а не действия частных лиц].

Кроме более или менее значительного числа людей, решительно не имеющих силы кормиться собственным трудом и потому без унижения для себя и для общества могущих получать прямые пособия благотворительности, существует другой, гораздо более многочисленный класс людей, которые имеют силу и охоту добывать пропитание собственным трудом, но нуждаются не менее, нежели настоящие нищие. В Западной Европе это происходит от так называемого недостатка работы; у нас человек, желающий найти работу, редко не находит ее, но вознаграждение за многие из работ, занимающих наибольшее число рук, слишком мало для

того, чтобы предохранить от нужды: доходы таких людей не соответствуют расходам для безбедного содержания. Увеличивать их доходы прямыми вспоможениями было бы унижительно для них и слишком убыточно для общества. Потому общественная заботливость должна избрать себе относительно этого класса людей другую цель: сокращение их расходов без прямых пожертвований на то со стороны общества. Эта цель достигается очень легко.

Четыре главные статьи расхода у семейства бедняков, как мы видели: квартира, отопление, пища и одежда. При наших нравах, как и в Западной Европе, отопление, пища и одежда покупаются людьми бедными у мелочных торговцев, которые незначительность своего торгового оборота по необходимости вознаграждают высоким процентом барыша. Притом и у мелочных торговцев бедняки покупают нужные им предметы самыми мелкими количествами — дрова по одному возу; муку — половинами пудов, десятками фунтов; мясо зимою, когда в провинциях каждый зажиточный человек закупает его на несколько месяцев по очень сходным ценам, также фунтами; точно так же покупается и всякая провизия, которая у зажиточных людей заготавливается на круглый год большими дешевыми партиями в дешевое время года. Точно так же приобретается и одежда — покупками на «толкучих рынках» старого платья, старой обуви, ношение которой вообще обходится гораздо убыточнее, нежели ношение одежды, заготовленной из новых материалов. А когда материалы покупаются и новые, то опять-таки у мелочных торговцев и мелочными кусками, — то есть по очень дорогой розничной цене. Нет нужды распространяться о том, что в мелочной торговле товары обыкновенно бывают дурного качества и продаются с обманом и в качестве и в количестве.

Что может сделать общественная заботливость для нуждающегося класса, добывающего деньги своим трудом и страждущего не от недостатка работы или сил и охоты к работе, а от несоответственности доходов с расходами? Расходы этого класса на отопление, пищу и одежду производятся не экономическим образом, — общественная заботливость должна доставить этим людям возможность покупать эти товары и продукты по возможно дешевым ценам, и возможно хорошего качества, — сделать источником их продовольствия не мелочную, а оптовую торговлю. Выигрыш оттого в расходах бедняков будет не менее 50%, во многих случаях — 100% и более.

Средств для достижения этой цели два: то или другое может быть предпочтительно, смотря по местному удобству.

Вот первое средство. Общество благотворительности само производит оптовые закупки, и продает закупленные товары по мелочи, но по той цене, в какую обошлись они ему, без всякого убытка, но и без всякого барыша себе.

Для этого нужно содержать обществу особенного агента и устроить собственные магазины.

Но агентом этим может быть избран какой-нибудь оптовый торговец, разумеется, достойный доверия своею добросовестностью и порядком в ведении своих дел. Тогда он устраивает мелочную продажу по оптовым ценам при своем оптовом магазине. Общество заключает с ним контракт об этом. Таким образом общество освобождается от всяких хлопот и затрат по покупке товаров и расходов на содержание собственных магазинов; но само собою разумеется, что за исполнением контрактов оно должно наблюдать неумолимо и чрезвычайно строго. Это второе средство.

При хорошем ведении дел выгода, доставляемая таким образом для бедных покупателей, сократит расходы бедного класса на покупку отопления, одежды и пищи по крайней мере на 50%, а во многих случаях и более.

Само собою разумеется, что, получая чрез общество возможность пользоваться выгодами оптовой торговли, бедные покупатели не должны быть лишены одного из важнейших преимуществ оптового покупателя — кредита. Перед оптовым торговцем этот кредит обеспечивается ручательством благотворительного общества, заключившего с ним контракт; обществу обеспечивается он взаимным ручательством бедных, но честных и добропорядочных людей, друг за друга, — словом, дело производится вообще по кредитивному обычаю тех мест, только приложенному к единицам и десяткам рублей, вместо тысяч рублей. Вообще опытом дознано, что масса бедняков добросовестнее в исполнении своих кредитных обязательств, нежели класс, обыкновенно пользующийся широким кредитом. В губернском, в уездном городе, один бедняк занимает у другого бедняка десять рублей — для них эта сумма важнее, нежели тысяча рублей у купца или помещика средней руки, считающих необходимость в таких случаях брать сохранные записи, векселя и т. д. и уверенных, что без такого документа уплата данной суммы неправдоподобна. Бедняки не считают нужными между собою никаких расписок, ни даже «честных слов» — они уверены, что уплата будет произведена при первой возможности, и одна физическая невозможность в состоянии воспрепятствовать должнику расплатиться.

Итак, люди недостаточные, по удостоверении членов благотворительного общества в том, что эти люди имеют право на заботливость общества, получают билеты (на годичный срок), дающие им право покупать по таксе, установленной обществом, в магазинах общества. При взаимном ручательстве таких покупателей друг за друга, общество открывает им кредит в своих магазинах. Кредит простирается до известной суммы, определяемой, с одной стороны, среднюю цифрой покупок бедняка между сроками, в которые он получает свои доходы, и между ежегод-



ными периодами дешевых цен на товары, с другой стороны, суммою взаимного ручательства.

Убыток обществу может быть в этом деле только один: неплатеж по данному кредиту. Если дела общества ведутся осмотрительно и без недобросовестного патронатства со стороны членов своим прислужникам, то убытки эти будут совершенно ничтожны.

Чрезвычайно значительное сокращение расходов нуждающегося класса на отопление, пищу и одежду может быть произведено благотворительным обществом или без всяких затрат (при контракте с оптовым торговцем), или с незначительною затратою капитала, если общество предпочтет, по местным обстоятельствам, иметь свои собственные магазины: затрата капитала в 10 000 руб. сер[ебром] легко дает обществу от оптовых торговцев кредит на 20 000 руб. сер[ебром]; если этот капитал сделает только два оборота в год (предположение слишком умеренное, при краткости сроков, на которые совершается закупка большей части продаваемых беднякам товаров, — например, обуви и платья, муки и т. д.; только мясо может быть заготавливаемо в зимнюю пору на три-четыре месяца, а некоторые овощи — свекла, капуста, огурцы — на девять месяцев в конце осени, и дрова также на несколько месяцев, во время прихода их по реке и в пору хорошего извоза), — то при двух оборотах в год, общество, затратив 10 000 руб., которые возвращаются без утраты в конце года, снабдит нуждающийся класс товарами на 60 000 руб. сер[ебром] в год; и так как при этой покупке покупатели выигрывают, по крайней мере, 50 процентов, то экономия в расходах, доставляемая нуждающемуся классу, простирается в год, по крайней мере, до 30 000 руб. сер[ебром], — иначе сказать, общество, не теряя ничего из употребленного на это дело капитала, доставляет косвенного ежегодного вспоможения нуждающемуся классу на сумму в три раза большую, нежели употребленный капитал.

Заботливость облегчить четвертую статью расходов нуждающегося класса (квартира) вообще требует для полного своего действия более значительных затрат, нежели три первые, хотя также совершенно безубыточных затрат. Но и тут могут быть случаи, когда улучшение быта возможно только одной заботливостью общества, без всяких затрат капитала. Есть также способы, в случае недостатка сумм для совершения этого дела в полных его размерах, сделать все-таки очень много хорошего без всяких затрат, одним именем и кредитом благотворительного общества. Мы также кратко изложим это дело.

Квартиры бедняков не только гораздо хуже, но, пропорционально своей величине, и значительно дороже, нежели большие и хорошо устроенные квартиры людей зажиточных. Относительно Петербурга это положительным образом доказано, например в прекрасной статье г. К. С. Веселовского «О недвижимых имуще-

ствах в Петербурге»<sup>2</sup> («Отечественные записки» 1848 года, № 3). В провинциальных городах эта разница в невыгоду бедняков должна быть еще значительнее, как увидят читатели. Причины сравнительной дороговизны бедных квартир двойного происхождения: одни соответствуют разнице между оптовою и розничною ценою, другие зависят от степени доверия домохозяина к нанимателю и от отношения между предложением и запросом.

Как купец охотно делает вам уступку, если вы берете вместо одного куска материи десять кусков, и, напротив, прибавляет цену на каждый аршин, если вы вместо целого куска берете один аршин материи, точно так же домохозяин охотнее соглашается получить большими кушами менее высокий процент от больших квартир. Если мы предположим, что у него есть квартира помещительностью в 50 квадратных сажен и что ему было приятно получать за нее по 1 000 р. сер[ебром] в год, то по разделении этой квартиры на 10 мелких квартир помещительностью по 5 квадратных сажен, он не согласится взять за каждую менее 120 р., даже при равной обеспеченности платежа от нанимателей, — в первом случае он будет получать от нанимателя уплату сотнями рублей — «это деньги, такими деньгами можно распорядиться выгодным образом, из них можно сделать оборот», — во втором случае он получает деньги ныне и завтра, пятками и много если десятками рублей, — «какие это деньги? эти деньги не видно как сквозь руки пробегут, выгоды вовсе нет от такого получения». Эту невыгоду он должен вознаграждать повышением цен.

Вот уже 20% разницы от влияния одной причины. Но есть и другие, действующие в том же направлении. Мы говорили, что с большого дома, разделенного на мелкие квартиры, домохозяин считает необходимым получать больший доход, нежели от такого же дома, разделенного на большие квартиры. Но этот случай, когда бедняки живут в больших домах, кроме Петербурга, в России очень редок. Обыкновенно, в наших провинциальных городах бедняки живут в маленьких домиках. В провинциях господствует такой способ постройки: большой дом строится для большой квартиры, для мелких квартир строятся маленькие флигельки и домики. Постройка одного двухэтажного дома в 10 сажен длины и 6 сажен ширины, имеющего помещительность в 120 квадратных сажен, обходится гораздо дешевле, нежели постройка двадцати одноэтажных домиков, каждый в 3 сажени длины и в 2 сажени ширины, — а эти домики все вместе имеют также только 120 квадратных сажен помещительности. Итак постройка мелких квартир обходится домохозяину пропорционально дороже, нежели постройка больших. То же надобно сказать и о ремонте. Новая причина, еще значительнее увеличивающая сравнительную дороговизну мелких квартир.

Мало того, что постройка жилища для бедняка в наших провинциальных городах стоит, пропорционально, дороже хозяину,

нежели постройка жилища для зажиточного нанимателя, — сам домохозяин маленького домишка находится обыкновенно в таком положении, что не может довольствоваться теми процентами, как хозяин большого дома. Один, два, три маленькие флигеля, отдаваемые в наймы, составляют обыкновенно все его состояние, и он должен, чтобы иметь возможность как-нибудь перебиваться, получать с своего домика или своих домиков гораздо высший процент, нежели зажиточный владелец большого дома. В Петербурге считается хорошим доходом, когда дом приносит 8% своей цены; в провинциях вы можете за 200 руб. купить флигель, который отдается в год за 40 р. сер[ебром], — это значит, что он дает 20% дохода.

Конечно, такую высокую цену не были бы в состоянии поддерживать домохозяева, если бы она не поддерживалась тем, что требования на мелкие квартиры всегда гораздо больше, нежели на большие. В провинции, когда очистилась квартира в 500 р. с[еребром] часто в целом городе не найдется человека, который бы искал квартиру в такую цену, и она стоит пуста не потому только, что хозяин не сходитя в цене с нанимателями, — нет, просто потому, что вовсе нет нанимателей. Не то с мелкими квартирами в 20, 30, 40 р. сер[ебром] — тут нанимателей десятки и десятки готовы каждый день набивать друг перед другом цену.

Прибавим ко всему этому, что зажиточный человек, нанимающий большую квартиру, всегда кажется домохозяину плательщиком более состоятельным и исправным, нежели бедняк, нанимающий маленькую. Не то в самом деле, чтобы действительно первые были аккуратнее вторых в расплате, — о, вовсе нет, спросите у всех провинциальных торговцев, каково давать в кредит людям, живущим в провинции на широкую ногу, — они в один голос скажут, что их приказчики обили все пороги у таких людей, навещая их для получения долгов. Но — но все-таки, человеку, живущему богато, каждый верит охотнее, нежели бедняку, хотя каждый и знает, что бедняк вообще бывает вернее в расплате.

Если соединим действие всех этих причин, мы поймем как причины, почему квартиры бедняков, сообразно поместительности, повсюду вдвое или даже втрое дороже, нежели большие квартиры, так и средства устранить это невыгодное для бедняков различие.

Самым коренным средством для доставления беднякам квартир, по возможности дешевых, признано построение благотворительными обществами больших домов, разделенных на маленькие квартиры для бедняков. Квартиры эти отдаются по такой цене, которая давала бы не более, как обыкновенный процент с капитала, платимый вкладчикам банковыми учреждениями. У нас этот процент в настоящее время, как известно, 4 на 100. В других землях он несколько менее; зато и процент, доставляемый там отдачею в наймы квартир, менее, нежели у нас, так что разницу между этими цифрами у нас и во Франции или в Англии можно

считать за равную; и если в домах, построенных по указанному нами способу, квартиры в Англии и Франции доставляют беднякам за цену вдвое и даже втрое меньшую против той, какую платят они за подобные квартиры частным домохозяевам, то никак нельзя ожидать, чтоб и у нас понижение цены квартир в таких нарочно устроенных домах могло быть менее значительно.

При этом надобно заметить, что в подобных домах, строящихся без всякой роскоши, со всевозможною экономией, но прочно, добросовестно, с соблюдением удобств, с хорошими печами и т. д., чего никогда не бывает в мелких квартирах у обыкновенных домохозяев, здоровье жильцов бывает гораздо лучше, и на отопление хорошо устроенной печи, конечно, требуется несравненно менее дров, нежели на ту нелепо-прожорливую печь, какая вообще бывает у нас в провинциях (да и в столицах) в мелких квартирах.

Убытка от таких построек строители не терпят ни малейшего: капитал приносит проценты точно такие же, как бы лежал в банке. Но, надобно сказать: капиталы требуются значительные, чтобы постройки имели размер, довольно значительный по пропорции к бедному населению города. Но трудно достать этот капитал, потому надобно сказать о средствах к уменьшению расхода бедняков на квартиры без всяких затрат со стороны благотворительного общества, единственно силою заботливости благотворительного общества.

При малочисленности нанимателей для самых больших домов в провинциальных городах благотворительное общество почти всегда может найти нескольких домохозяев, согласных по заключении с обществом контракта на продолжительное число лет, переделать свои большие дома на маленькие квартиры с удобствами, каких обыкновенно не имеют такие квартиры, и с хорошими печами и уступать эти дома в наем обществу по цене, не превышающей тех цен, по каким эти дома отдавались богатым нанимателям. Общество само будет уже раздавать квартиры по цене, какая определится раскладкою общей суммы найма по числу и поместительности мелких квартир. При расчетливом со стороны общества наблюдении за выгодностью заключаемых контрактов и исполнением условленных переделок оно увидит себя в состоянии отдавать поступившие в его распоряжение мелкие квартиры по крайней мере на пятьдесят процентов дешевле обыкновенных цен для квартир равной поместительности. Кроме того, от хорошего устройства печей, которое очень редко встречается в обыкновенных мелких квартирах, жильцы будут выигрывать от двадцати пяти до пятидесяти процентов на отоплении. При таких выгодах квартиры никогда не будут оставаться пустыми, — напротив, на каждую очистившуюся тотчас же будут являться десятки нанимателей, и затруднение может быть лишь в том, кому из них отдать предпочтение.

При том и другом способе действий, если только число квартир, находящихся в распоряжении общества, будет значительно, необходимо последует значительное понижение в цене всех других мелких квартир города; причин тому две: с одной стороны, соперничество дешевых квартир общества сбивает цену всех других подобных квартир; с другой стороны, от прибыли в числе квартир, назначенных для недостаточного класса, уменьшается соперничество между бедными людьми при найме квартир.

Подобного действия необходимо ожидать от действий благотворительного общества и от учреждения магазинов для розничной продажи по оптовым ценам с кредитом для людей недостаточных. Чтобы сколько-нибудь удержать за собою этот класс покупателей, все торговцы, занимающиеся розничною продажей, должны будут значительным образом спускать прежние цены.

Но возвращаемся к способам доставления дешевых квартир бедному классу. Даже при невозможности производить постройки для этой цели на свой счет (или, что то же, покупать по выгодной цене большие дома, — случаи к тому часты в провинциальных городах, при малочисленности людей, готовых на покупки таких домов, — и потом переделывать их собственными средствами на мелкие квартиры) и при отсутствии домов, удобных для найма, и домохозяев, согласных на отдачу их по контрактам, о которых говорено выше, общество все-таки имеет еще возможность доставлять посредством своего заступничества людям недостаточным квартиры по цене, значительно умереннейшей против обыкновенных цен. Оно, становясь посредником между нанимателем и домохозяином, отстраняет действия двух из числа причин, поддерживающих эти квартиры в несоразмерно высокой цене: во-первых, оно ручается за точную уплату найма со стороны доброспорядочного бедняка (а обществу гарантируется уплата со стороны бедняка взаимным ручательством нескольких бедняков), — этим удаляется та часть дороговизны, которая имеет причину недоверие домохозяина к бедному нанимателю; во-вторых, общество может принимать на себя уплату по годичным срокам вперед всей условленной цены, принимая уже на себя полученную вдруг, — этим доставляется бедняку выгода дисконта (уступки в требуемой сумме, за платеж денег до срока); кроме того удаляется чрез это та часть дороговизны, которая зависит от разницы между получением денег мелкими и более крупными взносами. Таким образом, даже и при этом самом ограниченном способе действия, общество доставит бедным людям сокращение расходов на квартиру, по крайней мере, в двадцать пять процентов.

Когда мы сообразим все различные способы изложенного нами безубыточного действия благотворительных обществ, мы увидим, что при возможности располагать значительным капита-

лом с уплатою за него четырех процентов кредиторам своим (если капиталы эти не принадлежат обществу) или с приобретением в свою кассу тех же четырех процентов (если эти капиталы принадлежат обществу), — общество может одною силою капитала и кредита, не теряя ни одной копейки, доставить бедному классу сокращение на сто процентов или даже на сто двадцать пять процентов<sup>3</sup> по всем четырем главным статьям расхода бедняков, — именно, по расходам на квартиру, отопление, одежду и пищу. [Нет надобности говорить, что по той же самой методе может быть доставлено подобное же сбережение почти по всем другим статьям расхода бедняков, если общество будет иметь средство расширить круг своего участия и на эти расходы. Таковы расходы на поездки и на переселения из одного города в другой, расходы на различные случайности жизни, на лечение, на воспитание детей и т. д.]

Трудно представить себе случай, чтобы благотворительное общество того или другого провинциального города, состоящее обыкновенно из всех почетнейших и сильнейших по своему положению и состоянию лиц города, могло встретить непреодолимые препятствия в бессрочном займе капиталов, нужных для полной широты его действий, когда по этим капиталам будет уплачивать те же проценты, как и банк.

Для благотворительного общества в губернском городе, — общества, члены которого губернатор и все местные коронные власти, губернский предводитель и все значительные помещики, хотя временно живущие в городе, городской голова с городскими властями и все значительные купцы, наконец откупщик и подрядчики, — для такого общества захотеть иметь капиталы на банковых условиях значит иметь их. Иноземцы не могут иметь и приблизительно понятия о том, как велико у нас могущество доброй воли в сильных земли, — она может иметь огромнейшее значение. Иметь в своем распоряжении полмиллиона рублей капитала для такого общества в половине наших губернских городов — дело более легкое, нежели мы себе воображаем. В два, в три года могут создаться громадные средства].

В обыкновенных уездных городах средства эти гораздо менее значительны, зато и население таких городов незначительно, и огромных капиталов там не нужно, чтобы производить громадное, пропорционально объему города, действие. А большие, то есть торговые уездные города, располагают капиталами, пропорционально населению, более значительными, нежели губернские города; потому что в значительных уездных городах обороты торговли значительнее, нежели в губернских, имеющих равное население.

[У нас много заботятся об украшении городов. Если в каком-нибудь из них возводится большое и красивое здание, это составляет источник торжества для всех властей, источник гордости

для всех граждан. Когда начинает порядочно отстраиваться в городе какая-нибудь улица, все жители и власти города твердят о том во всех углах России, куда только доберутся. Казань на всю Россию славится своею Воскресенскою улицею; что Казань ведет обширную торговлю, этого можно не знать и действительно не знают очень многие так называемые образованные люди даже в соседних с Казанью губерниях; но я вас спрашиваю, кто не знает, что Казань хорошо отстроена? Этого невозможно не знать, стоустая слава трубит о том неумолкаемо, и это составляет настоящий предмет удовольствия для жителей Казани. Стоило бы только воспользоваться способами, какие указывают нам благотворительные общества Западной <Европы> для улучшения быта в нуждающемся плане, и через несколько лет города наши преобразились бы. Распространение благосостояния в большинстве городского населения — первое и необходимейшее условие для улучшения внешнего вида городов и даже для появления многочисленных великолепных домов частных людей. О первом нечего и говорить: полуразвалившиеся лачуги заменятся красивыми домиками, грязные и смрадные закоулки — опрятными улицами, конечно, только тогда, когда класс мещан и мелких чиновников будет жить в большем довольстве, нежели ныне. Но и постройка многочисленных великолепных домов и роскошных улиц, которыми гордились бы провинциалы, говоря, что «у нас, дескать, есть свои Невские проспекты и Большие Морские, свои Тверские и Кузнецкие Мосты», — это столь возжеланное для каждого сердца появление возможности не ударить лицом в грязь перед столицами, возможно также только при распространении некоторого благосостояния между большинством городского населения, ныне терпящего нужду. Ныне сбыт товаров в наших провинциальных городах незначителен; капиталистов создает ныне только отправление товаров в столицы и за границу; городское население в провинциях не может служить основанием для большой торговли. При увеличении благосостояния в большинстве этого населения настанет иная эпоха для внутренней торговли: город в 20 000 или 30 000 жителей будет потреблять фабричных изделий в пять раз больше, нежели теперь, и в каждом городе появятся новые капиталисты, поддерживаемые сбытом товаров не за границу, не в Москву и в Петербург, а в Алатырь (Симбирской губернии), Ахтырку (Харьковской губернии), Болхов (Орловской губернии), Борисоглебск (Тамбовской губернии), Борисполь (Полтавской губернии), Боровск (Калужской губернии) и т. д., и т. д., — словом сказать, появятся рынки, о которых никто и не слыхивал до сих пор, и каждый из этих рынков создаст новых капиталистов и новые великолепные здания. Неужели эта сладкая и верная надежда увидеть в своих городах здания и улицы, которыми можно было похвастаться в столице, не склонит каждое бьющееся благородной гордостью в этом городе сердце сделаться

в некотором смысле благодетелем своего города — и заслужить такое славное имя — чем же? Простым размышлением: «Пожалуй, я согласен часть процентов с капитала, которым пользуюсь теперь, получать не из банка, а из кассы общества, которого я считаю почетным членом и одним из основателей-благодетелей; ведь мне все равно, из Москвы ли будут присылаться мне на мои 10 000 рублей 400 рублей процентов, или из кассы нашего общества, — последнее даже приятнее, — банк меня нимало не благодарит и не льстит мне, а тут мне будут говорить похвальные речи, печатать обо мне в газетах и не только в наших газетах, — нет, даже во всех четырех столичных: приятно! Берешь «Московские ведомости» — отчет нашего общества или статейка о нем — и читаешь: «Один из благодетелей нашего города, г. N. N.». А ведь этот г. N. N. именно я; берешь «Северную пчелу», читаешь, — то же самое: «Один из благодетелей нашего города г. N. N.» и т. д., то есть опять все я же; и в «Инвалиде» то же, и в «Петербургских ведомостях» то же — да, большую приятность приносит просвещение, — за один прием четыре раза в разных местах читаешь о себе, что ты — благодетель и благодетель человечества, — а таких приемов каждый год бывает несколько. «И ведь вся Россия читает это обо мне, вся Россия знает, что я благодетель... Да, приятно, очень приятно жить в просвещенном веке!»

Нет, мы никак не можем предположить, чтобы нашлись сердца, которые не смягчились бы перспективою такого возвышенного и сильного наслаждения и не отдали бы часть своих капиталов в проценты благотворительным обществам. Нет, у этих обществ будут капиталы! Будут капиталы громадные, перед которыми покажутся ничтожны капиталы даже самой Англии! Вспомните только, что по календарю нынешнего года русских капиталов лежало в русских кредитных учреждениях 924 681 639 рублей серебром! Соедините вклады всех кредитных учреждений Англии, Франции, Германии, Голландии, Бельгии и проч. и проч., всех стран от Финистерре до Норд-Капа, от Исландии до Эгейского моря, вы не получите такой цифры. И все эти 924 681 639 рублей лежат, доставляя своим владельцам 4% и только, ни одного слова признательности ни от кого, напротив, от многих нареканая, — ни от кого названия благодетелем — скажите же, не гораздо ли приятнее вместе с теми же 4% приобретать еще высокое нравственное наслаждение от всеобщих неумолчных похвал, разносящих на всю Россию, что N. N. друг человечества и благодетель?]

Но само собою разумеется, что чем скромнее надежды, тем они вернее. Предположим же, что благотворительные общества не получают в свое распоряжение ни одной копейки капитала на ту отрасль деятельности, которая указывается примером подобных учреждений Западной Европы. Все-таки одно их посредничество может доставить на двадцать пять процентов экономии нуждаю-



Щемуся классу горожан по четырем важнейшим статьям расхода бедняков, [и по крайней мере 15% экономии на четвертой статье расхода. Положим, что круглым числом на каждого из 5 000 000 нуждающихся горожан Русской Империи приходится только по 10 р. сер[ебром] расхода на платье, пищу и отопление и по 4 р. сер[ебром] на квартиру — сбережение в 25% на первых трех статьях расхода составит 12 500 000 р. сер[ебром], а 15% на четвертой статье — 3 000 000 р. сер[ебром] — всего 15 500 000 р. сер[ебром]. А, конечно, всякий знает, что действительно расходы эти гораздо выше, стало быть, и экономия должна выразиться цифрой более значительною. И, чтобы доставить этому бедному классу людей по крайней мере 15 500 000 р. сер[ебром] экономии, нужно только в каждом городе одному честному и порядкительному человеку заняться надзором за агентами, с которыми благотворительное общество этого города заключит контракты, а для заключения контрактов, доставляющих также огромные выгоды беднякам, нужно только некоторым праздным людям в городе сделать или принять несколько визитов, — что ж тут особенно тяжелого? Ведь делают же и принимают же они в каждое воскресенье и в каждый праздник помногу, иногда по два и по три десятка визитов.

О, как легко и приятно быть филантропом! По моему мнению, это даже приятнее и легче, нежели быть Петром Ивановичем Бобчинским].

**Статистические труды И. Ф. Штукенберга. Статья I.**  
*Описание Архангельской губернии. Перевод с немецкого.*  
Спб. 1857<sup>1</sup>

Покойный Иван Федорович Штукенберг был одним из неутомимейших и почтеннейших тружеников по русской географии и статистике. Он принадлежал к числу таких людей, как Миллер и Бакмейстер, которые должны служить для нас примерами ученой добросовестности и трудолюбия. Его «Гидрография» — капитальное, классическое сочинение, каких не много написано о России.

Окончив свою огромную «Гидрографию», покойный ученый занялся собиранием материалов для другого сочинения, которое было задумано им в объеме, еще более обширном, — он составлял «описание России в отношении к обилию почвы и ее разработке, к земледелию, промышленности и торговле»<sup>2</sup>. Государь император, ценя ученые заслуги Штукенберга и важность начатого им труда, благоволил пожаловать автору (за год до его смерти) добавочное жалованье и средства к изданию нового его сочинения.

Когда И. Ф. Штукенберг скончался, в его бумагах нашлось уже оконченное описание 38 губерний, из которых шесть были приготовлены к выпуску в свет.

Сын покойного, подполковник корпуса инженеров путей сообщения, А. Штукенберг прекрасно сделал, решившись издать неоконченный сборник, о котором покойный автор справедливо говорил, что посредством его мы подвинемся на шаг вперед в познании нашего отечества. Было бы грешно оставлять неизданным это богатое собрание фактов. Сочинение было написано покойным автором на немецком языке; сын издает его в русском переводе.

Желаем безостановочного продолжения этому изданию, которое оставляет далеко за собою все, что было напечатано у нас в подобном роде.

[ИЗ № 6 «СОВРЕМЕННОГО»]

**Труды комиссии, высочайше учрежденной при императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа. Том третий. Киев. 1855**

Статьи, вошедшие в состав этого тома «Трудов Комиссии для описания губерний Киевского учебного округа», были написаны в различное время; некоторые из них, как видно по цензурным числам, были одобрены к печати еще в 1853 году, другие принадлежат уже 1856 году. Не знаем, когда явился этот том в Киеве, но в Петербурге он получен только в последнее время: несмотря на 1855 год, выставленный на его обертке, он — новость для большей части нашей публики и для нас.

Статьи, помещенные в нем, принадлежат четырем различным отделам науки; 1) к естествознанию относятся: г. Траутфеттера «Исторические исследования флоры» и г. Роговича «Обозрение сосудистых и полусосудистых растений» губерний Киевского учебного округа; 2) к сельскому хозяйству и промышленности: г. Тарновского и Ходецкого «Программа сельскохозяйственного описания» и г. Бунге «О железной промышленности губерний Киевского учебного округа»; г. Базинера «Исследование о табачной промышленности в губерниях Черниговской и Полтавской»; г. Понятовского «Практические замечания о свекло-сахарной промышленности в юго-западных губерниях»; кроме того, сведения, сообщенные разными лицами «о гусенице, истреблявшей сахарную свекловицу в 1855 году» и «об известковом камне»; 3) статистике принадлежат исследования г. Маркевича «О народонаселении Полтавской губернии» и покойного Журавского «О кредитных сделках в Киевской губернии»; 4) по этнографии помещена «Программа для этнографического описания губерний Киевского учебного округа», составленная кн. Дабичею и г. Метлинским.

Предоставляя специальным журналам оценить достоинство статей, относящихся к естественным наукам и сельскому хозяй-

ству, мы обратим свое внимание исключительно на те статьи третьего тома «Трудов», которые принадлежат статистике.

Г. Маркевич не почел нужным ограничить свою статью пределами статистики: он пускается в исторические расчисления и размышления, спорит с Валласом, Петавием и Монтескье о том, действительно ли во времена Юлия Цезаря население земного шара простиралось до 30 000 миллионов душ, действительно ли город Фивы имел 70 000 000 жителей, действительно ли за 4 000 лет до Р. Х. было на земле 700 000 миллионов жителей, — и, надобно отдать ему справедливость, полагает, что эти цифры неправдоподобны. Спорит он также с каким-то «русским писателем» о том, можно ли по-русски говорить «милькаре», как по-французски говорится mille saée, и опять-таки справедливость на его стороне: действительно, по-русски не годится говорить «милькаре»<sup>1</sup>. Люди, любящие ограничивать ученые исследования слишком точными пределами, могут сказать, что эти эпизоды излишни; нечто подобное найдут они и в некоторых из таблиц, составляющих существенную часть статьи г. Маркевича. Но вместе с тем они принесут ему благодарность за трудолюбие, с которым собрал он чрезвычайно многочисленный и богатый запас цифр относительно населения Полтавской губернии. Не совершенно следуя общепринятым рубрикам в своих таблицах, г. Маркевич, однако же, представил много данных интересных и важных. Не всегда его расчеты о постепенном возрастании или уменьшении населения в Полтавской губернии произведены согласно требованиям науки<sup>2</sup>, но всегда они сопровождаются положительными данными, на основании которых легко могут быть проверены.

Относительно обстоятельств, от которых зависит приращение населения, г. Маркевич, сравнивая цифры, приходит к следующим справедливым выводам:

Число дворян в Полтавской губернии с 1843 по 1848 год увеличивалось ежегодно на 2,80%.

Число мещан — на 2,71%.

Крестьян различных наименований — на 1,81%.

Эта разница цифр получит еще больше значения, когда мы сообразим, что, по естественному порядку, смертность в городах, где сосредоточены мещане и большая часть дворян, должна была бы быть гораздо значительнее, нежели в селах. Но неблагоприятное влияние городской жизни, как видим, далеко превосмогается влиянием различия сословий.

«Итак, — заключает г. Маркевич, — мы видим, что прибыль народонаселения увеличивается по мере богатства и привилегий сословия».

Рассматривая числа смертности от различных болезней и находя, что большинство людей в Полтавской губернии умирает от болезней, которые, собственно говоря, должны называться ничтожными, потому что легко уступают самым легким медицинским

средствам, г. Маркевич приходит к заключению, что недостаток этих пособий должен считаться одной из причин большой смертности, какую обнаруживают у нас статистические таблицы. В самом деле, в Полтавской губернии приходится один медик на 21 628 душ и одна аптека на 92 512 душ.

«Если бы ближайшие между собой соседи (продолжает г. Маркевич), которых имения составляют, взятые вместе, от 500 до 1000 душ, имели медика на общий счет, это дело было бы не только христианское, но выгодное по расчету. Напрасно, опровергая важность исполнения моей мысли, скажут, что при докторе должны быть больница, фельдшера, прислуга, аптека и повивальная бабка и что это повлечет к издержкам не по силам: если доктор сбережет три на сто (из числа больных) в год, так издержка покрыта. Повторяю: у нас весьма много людей гибнет от того, что не была подана помощь немедленно или не была подана вовсе»<sup>3</sup>.

Далее г. Маркевич рассматривает влияние на здоровье, производимое крестьянскими избами с соломенными крышами и тому подобными принадлежностями, и, разумеется, замечает, что это влияние пагубно. «Но так привыкли жить поселяне»<sup>4</sup>, слышится ему возражение так называемых практических людей. Он отвечает с прекрасным негодованием:

«Скажут, что привычка — вторая натура? — Ложь! Привыкнуть к постоянно-вредному — дело невозможное. Растение мыса Доброй Надежды растет и цветет хило и бледно в теплице, — как же привыкнуть к такой избе? Должно отдать малороссиянкам справедливость: они опрятны, в избе любят чистоту, к дням праздничным обмазывают на-ново, белят избу, моют скамьи и столы; себя содержат в опрятности; считают стыдом явиться с грязными ногами; но о здоровье мало заботятся, жертвуя оным в пользу скота. Их нельзя обвинять: скот составляет их достоинство. Но те, для которых книги пишутся, не могут ли, хотя несколько, беде пособить?»<sup>5</sup>

Известно, как необходима человеку работающему мясная пища. Из людей, знающих Малороссию понаслышке, многие воображают, будто обыкновенная пища малорусского крестьянина — борщ с свиного и сало. К. Маркевич совершенно опровергает относительно Полтавской губернии это предубеждение. Знаменитый малорусский борщ вовсе не нуждается в свинине и сале. Он довольствуется капустною и свекольною приправою, «то есть, — говорит г. Маркевич, — пища народная состоит только из веществ мучных и растительных; изредка свиное сало и баранина». Из этого мы видим, что поселяне Полтавской губернии относительно количества потребляемого ими мяса не отличаются от поселян великорусских губерний.

Долг защищать отечество есть первая и священнейшая обязанность гражданина. Пропорция людей, посвящающих себя этой

обязанности, к числу всего взрослого мужского населения, способного к тягловой работе, в Смоленской губернии определяется как 28 к 100, — то есть из тысячи мужчин, способных к работе, 280 человек посвящают себя защите отечества \*. Киевская губерния в 16 лет, от 1835 по 1850 г. включительно, по показанию г. Маркевича, «выдала государству защитников, охраняющих его неприкосновенность, 45 833, не считая евреев-мещан», — то есть эта цифра рекрут относится к одному сельскому рабочему населению. По приблизительному расчету, принимая среднее число мужского сельского населения за эти годы в 800 000 душ, и считая число мужчин в рабочем возрасте (от 18 до 58 лет) равным половине общего числа мужчин, то есть для всей губернии 400 000 сельских работников, мы получим, что в 16 лет из 1 000 работников поступили в военную службу 115 человек; а так как это число поступило в продолжение 16 лет, весь же период рабочей жизни простирается до 40 лет, то, по пропорции 16 : 40, или 4 : 10, в Полтавской губернии из 1 000 рабочих сельского населения посвящают себя воинской службе 287 человек. В Киевской губернии \*\* по расчислению за 11 лет (1836—1846 включительно) поступало в рекруты ежегодно 2 458 человек, при среднем приблизительном числе 790 000 душ мужского пола; считая в том числе сословия, отправляющие рекрутскую повинность 91% \*\*\*, мы получим, что среднее число душ, с которых брались рекруты, в тот период в Киевской губернии было 719 000; из них рабочего народа было около 359 500 душ; в течение 40-летнего периода ежегодная цифра 2 458 рекрут составит 98 380 душ, — а эта последняя цифра относится к общему числу работников (359 500) как 272 к 1 000. Сличая эти числа по трем губерниям, мы находим, что распределение рекрутской повинности по губерниям происходит очень уравнительно, не только по числу ревизских душ, но и по числу наличных работников, именно:

Губернии	Из 1000 взрослых мужчин отправляют воинскую обязанность приблизительно:
Смоленская . . . . .	280 (по цифрам г. Я. Соловьева <sup>7)</sup> )
Полтавская . . . . .	287 (по цифрам г. Маркевича)
Киевская . . . . .	272 (по цифрам гг. Фундуклея или Журавского)

Средняя цифра по трем губерниям — 279<sup>2</sup>/<sub>3</sub>.

От соображений, уже выведенных г. Маркевичем из представляемых им таблиц, переходя к другим выводам, представляемым

\* См. «Русский вестник», 1857 г., № 9, статью г. Неелова «Рациональное сельское хозяйство», стр. 122.

\*\* См. «Описание Киевской губернии», составленное под редакцией покойного Журавского и изданное г. Фундуклеем, т. I, стр. 165.

\*\*\* Эти приблизительные цифры получаются из таблиц, представленных в «Описании Киевской губернии», т. I, на стр. 139—141 и 177<sup>6</sup>.

цифрами, которые собрал он в многочисленных таблицах, мы остановимся прежде всего на таблице № 8, «Распределение земель на ревизскую душу». Общий итог, ею представляемый, таков:

	В имениях дворянских	В имениях государствен.
Число ревизских душ . . . . .	328 816	413 211
Число десятин земли . . . . .	2 694 869	1 037 365
Средняя пропорция десят. на ревиз. душу .	8,33	2,53

Таково отношение и в других губерниях: повсюду, где есть дворянские имения, население в них гораздо реже, нежели в имениях государственных. Это, конечно, надобно объяснить отчасти тем, что в отдаленные времена, пока не было правильного размежевания, помещики распахивали государственные земли, которые потом и остались за ними по праву давности владения, отчасти другим, законным способом приобретения, как-то: покупкой и получением в пожалование, отчасти, наконец, тем, что население в имениях государственных возрастает быстрее, нежели в дворянских.

В Полтавской губернии только в двух уездах дворянские имения обладают пропорцией земли несколько менее, нежели в два раза превышающей количество земли, приходящейся в тех же уездах на ревизскую душу в государственных имениях (Миргородский уезд двор. им.  $3\frac{3}{4}$  дес. на душу, госуд. им.  $2\frac{1}{2}$  дес., пропорция =  $1\frac{1}{2}$ ; Гадячский уезд  $4\frac{1}{2}$  и  $2\frac{1}{2}$  десят., пропорция =  $1\frac{4}{5}$ ); в одном уезде пропорция = 2 (Роменский уезд двор. им.  $3\frac{1}{4}$ , госуд. им.  $1\frac{3}{4}$  дес.); во всех остальных 12 уездах пропорция земли в дворянских имениях более, нежели двойная, сравнительно с государственными имениями; в некоторых она простирается слишком до 4 десятин против одной десятины (Лубенский уезд, двор. им. —  $11\frac{1}{2}$ , госуд. им.  $2\frac{1}{4}$  десят. на душу, пропорция =  $5\frac{1}{9}$ ; Золотоношский уезд, двор. им.  $11\frac{3}{4}$ , госуд. им.  $2\frac{1}{4}$  дес. на душу, пропорция =  $5\frac{2}{9}$ ; в Кобелякском уезде дворянские имения владеют  $13\frac{3}{4}$  десят., а государственные —  $2\frac{3}{4}$  десятины на ревизскую душу, пропорция = 5; а в Зиньковском уезде приходится на ревизскую душу даже по 7 десятин в дворянских, против 1 десятины в государственных имениях ( $12\frac{1}{4}$  десят. на рев. душу в двор. и  $1\frac{3}{4}$  десят. в госуд. имениях).

Таблица № 17 представляет цифры населения городов Полтавской губернии в 1835 и 1850 годах. Во всех 15 городах в 1835 году считалось 114 500 жителей обоого пола, в 1850 году — 110 728 жителей; итак, с 1835 по 1850 год число городского населения в Полтавской губернии уменьшилось на 3 322 души, или на 3%; рассматривая цифры по каждому городу в отдельности, находим, что в пяти городах население несколько увеличилось, хотя незначительным образом (более всего в Прилуке: 1835 г.

6 941 житель, в 1850 году — 8 769 жителей), а в остальных десяти городах уменьшилось.

Из таблиц №№ 38 и 39 («Движение населения в имениях помещичьих и государственных»), составленных на основании метрических книг нескольких приходов за 16 лет (1835—1850), заимствуем итоги. Чтобы результаты сравнения были очевиднее, г. Маркевич приводит исчисления над одинаковым по возможности количеством душ в тех и других имениях, — именно для сравнения он взял помещичьи селения с 100 094 душ населения, и государственные селения с 100 033 душ населения по 8-й ревизии.

Количество рождающихся зависит, как известно, не от степени благосостояния жителей, а от степени плотности населения: чем больше земли приходится на душу, тем более бывает число рождений. В помещичьих имениях Полтавской губернии, как мы знаем, гораздо более земли, нежели в государственных<sup>3</sup>, потому и перевес рождений на их стороне: число родившихся в течение 16 лет в помещичьих имениях простиралось до 106 601 младенца обоего пола, между тем как в государственных имениях только до 92 755 душ.

Но степень смертности находится, как известно, в совершенной зависимости от степени благосостояния. Чем выше благосостояние, тем менее смертности в населении. В помещичьих имениях в течение 16 лет умерло 85 245 душ обоего пола, в государственных только 72 202.

Наконец очень любопытна таблица № 52 «Приращение народонаселения в селах, имеющих пособие медицины и лишенных оного». В восьми селах, имеющих постоянного медика или постоянно посещаемых медиком в условные дни, и в десяти селах, не имеющих медицинского пособия, г. Маркевич нашел следующие цифры по движению населения за 16 лет:

	Села с медиками	Без медиков
Население по 8-й ревизии . . . . .	15 013	15 687
Число родившихся . . . . .	16 636	15 787
Число умерших . . . . .	12 215	13 433
Прибыль населения . . . . .	4 421	2 350

Итак, при населении, почти равном, число родившихся в первых селах значительнее, а число умирающих менее, нежели в последних. Прибыль населения в селах, пользующихся медицинскими пособиями, равняется в 16 лет 29%, а в селах, не пользующихся этими пособиями, только 15%, — иначе сказать, из этих цифр следует, что при медицинских пособиях население возрастает почти вдвое быстрее, нежели без медицинских пособий.

Статья покойного Д. П. Журавского «О кредитных сделках в Киевской губернии» имеет, как и все исследования этого заме-

чательного ученого, большое научное достоинство. Прежде всего заслуживает особенного внимания счастливая и чрезвычайно верная мысль Журавского, что не только крепостные и явочные книги Гражданских Палат и Уездных Судов, но также и маклерские книги, о которых почти не вспоминают при исследовании движения ценностей и кредитных сделок, должны служить важнейшими материалами для изучения этого предмета. «Все это еще не тронуту, — продолжает Журавский: — но надобно полагать, что наступит, наконец, время, когда вопросы общественные получат интерес и важность для публики; тогда польза ученых исследований и извлечений фактов из сказанных материалов будет надлежащим образом оценена». (Грустно подумать, что смерть похитила у нас Журавского именно при самом пробуждении того интереса, о недостатке которого жалел, похитила этого благородного, неутомимого и высокодаровитого ученого именно в то время, когда начиналась настоящая и полезнейшая пора для его деятельности.) «Между тем, говорит он, подготовка сих последних (т. е. материалов) для будущих трудов была бы не бесполезна и ныне; тем более, что по однообразию учреждений она доступна у нас всякому, занимающемуся статистикой, во всех пунктах государства. Нужно только следовать каким-либо общим формам в статистической обработке материалов, по отдельному предмету или по одному месту, чтобы после мог быть сделан свод из частных обработок одного предмета. В этом смысле мы взяли малейшую частицу здешних материалов о движении частных имуществ, — ссуды и займы, совершенные у киевских маклеров и нотариусов за один год, и представляем их в статистических формах». Способ исполнения этой работы Журавским действительно должен остаться образцом для последующих трудов по этой части, а результаты, им полученные, так интересны, что ободряют других людей к совершению подобных работ по своим местностям.

Мы приведем только главнейшие цифры о том, как распределялась в 1848 году (к которому относятся данные, собранные Журавским) между различными классами населения сумма займов, записанных в книгах маклеров города Киева:

	Дали заем	Взяли заем
Купцы . . . . .	478 323 руб.	292 721 руб.
Мещане . . . . .	44 058 »	74 128 »
Дворяне (беспоместные) . . . . .	126 994 »	79 249 »
Помещики . . . . .	277 923 »	472 259 »
Гражданские чиновники . . . . .	188 633 »	220 158 »
Военные (генералы и офицеры) . . . . .	108 514 »	81 104 »

Эти цифры требуют объяснений<sup>9</sup>. Странно может казаться, что купцы, которым нужнее иметь наличные деньги для своих торговых оборотов, нежели получать проценты за отдачу своих капиталов в чужие руки, более дали заем, нежели взяли, — но



дело в том, что к классу купцов причисляются здесь банкиры. Большая часть сумм, данных взаем людьми купеческого звания, дана банкирами, а не собственно негоциантами, которые, напротив, составляют всю массу людей купеческого звания, бравших деньги взаем. Относительно класса помещиков цифры являются в пропорции очень естественной: натурально, что очень многие из них занимают деньги, — иные для роскошной жизни, иные — для покупки имений или улучшения их.

Не менее натурально и то, что другие лица того же класса располагают значительными суммами наличных денег, которые отдают взаем. «О происхождении капиталов, выданных помещиками, — замечает Журавский, — нечего и говорить; имущества их — явные и самые значительные против всех других классов. Нельзя того же сказать о классе служащих и отставных гражданских чиновников и военных офицеров, хотя кредитные сделки их весьма значительны. Мы затруднялись было объяснить себе это обстоятельство: откуда может быть столько свободных денег в обороте у людей, большая часть которых ничего не имеет, кроме получаемого на службе жалованья; но надобно взять в соображение, что многие из них принадлежат также к поместному дворянству и владеют недвижимыми имениями. Если прибавить к этому казенное содержание, денежные награды и пенсии и если допустить, что в образе жизни этих классов соблюдается строгая экономия и отсутствие роскоши, то можно бы, кажется, объяснить существование излишних капиталов у чиновников и офицеров, не доискиваясь других источников»<sup>10</sup>.

Интересен вопрос: в какой степени быстро возрастает количество капиталов и сумма кредитных сделок? Некоторым пособием к этому может служить сумма дохода, получаемого за гербовую бумагу, на которой пишутся сделки такого рода. Журавский собрал цифры об этом относительно Киевской губернии за три трехлетия, разделенные между собой промежутками: второе от первого 12 лет, третье от второго—22 лет:

	1838—1810	1822—1824	1846—1848
Среднее число употребленных ежегодно на заемные письма и векселя листов . . . . .	3 998	5 029	23 011
Гербовый с них сбор . . . . .	2 423	13 041	23 042

Сравнивая второе трехлетие с первым, видим, что не столь значительно возвысилось число кредитных сделок, сколько размер их (цена гербового листа соответствует величине суммы, на которую заключается сделка); сравнивая третье трехлетие с вторым, видим, что не столь значительно увеличился размер суммы сделок, сколько число их. Сравнивая, наконец, третье трехлетие с первым, видим, что в Киевской губернии, в течение 40 лет, с

1808 по 1848 год, число кредитных сделок увеличилось почти в семь раз, а количество капиталов, в них обращающихся, возросло почти в десять раз.

Кроме оборотов, совершаемых чрез посредство маклеров, капиталы обращаются также на вклады в государственные кредитные учреждения. Журавский, в дополнение к своим извлечениям из маклерских книг, извлек также цифры вкладов за 1849 год из книги Киевского Приказа Общественного Призрения <sup>11</sup>:

Сословия вкладчиков	Сумма вкладов
Купцы . . . . .	9 237
Мещане . . . . .	13 943
Дворяне (беспоместные) . . . . .	16 970
Помещики . . . . .	56 096
Гражданские чиновники . . . . .	198 890
Военные (генералы и офицеры) . . . . .	132 842
Лица, не объявившие своего звания, и билеты на имя неизвестного . . . . .	271 728 <sup>12</sup>

Сравнивая эти цифры с капиталами, выданными взаймы чрез посредство маклеров, мы видим, что класс чиновников гражданских и военных предпочитает помещение капиталов в кредитные учреждения, и видим также, что главнейшая часть вкладов в эти учреждения принадлежит классу служащему, когда мы соединим цифры капиталов, отданных взаем чрез маклеров и помещенных в кредитные учреждения, то увидим, что большая часть наличных капиталов в Киевской губернии принадлежит служащему сословию. Именно сумма капиталов, отданных взаем чрез посредство маклеров и помещенных в кредитные учреждения, составляла по тем источникам, которыми пользовался Журавский, в 1848—1849 годах:

Сословия	Сумма капиталов
Купцы . . . . .	492 430 руб. сер.
Мещане . . . . .	58 001 » »
Дворяне (беспоместные) . . . . .	143 064 » »
Помещики . . . . .	334 019 » »
Гражданские и военные чиновники . . . . .	628 888 » »

К последней сумме надобно присоединить 325 079 руб. сер., принадлежащих служащим других ведомств; кроме того, большую часть из суммы 271 728 руб. сер., внесенных на имя неизвестных или лицами, не объявившими своего звания, а также большую часть суммы 143 064 руб. сер., принадлежавшей дворянам беспоместным, которые должны по преимуществу считаться оставшими или даже и состоящими на службе чиновниками; распределяя затем по другим сословиям остаток сумм, внесенных в кредитные учреждения на имя неизвестных, мы получим следующие приблизительные цифры:

	Сословия	Сумма капиталов
Купцы . . . . .		500 000 руб. сер.
Мещане . . . . .		60 000 » »
Помещики . . . . .		350 000 » »
Чиновники . . . . .		1 300 000 » »

Конечно, для того чтобы расчет был совершенно точен, нужно присоединить к этим цифрам цифры вкладов, помещенных жителями Киевской губернии в другие кредитные учреждения, кроме Киевского Приказа Общественного Призрения, и цифры займов по книгам уездных маклеров Киевской губернии; но и в настоящем своем виде таблица, составленная трудами покойного Журавского, имеет уже очень значительный интерес для людей, занимающихся изучением нашего экономического быта.

**Хлопчатобумажная промышленность и важность ее значения в России. Соч. Александра Шипова. Отдел I. Москва. 1857**

Брошюра эта написана в защиту хлопчатобумажной фабрикации в России и направлена против учения о безграничной свободе торговли<sup>1</sup>, пользующегося очень значительной популярностью между нашими экономистами. Нет сомнения, что она вызовет опровержения; и действительно, очень многое в ней легко может послужить поводом к очень блестящим опровержениям; особенно способ изложения, доказывающий, что автор более знаком с русскими статьями о свободной торговле, нежели с капитальными иностранными сочинениями об этом предмете: из больших и основательных трактатов политико-экономического содержания ему известно, кажется, только сочинение гр. Тенгоборского<sup>2</sup>. Теоретические соображения такого противника, конечно, нетрудно будет опровергать защитникам свободной торговли, имеющим под руками сотни иностранных книг, не известных автору брошюры; но если теоретическая часть его брошюры слаба, то много интересного заключается в его практических замечаниях: г. Шипов, как видно, имеет очень много знаний относительно главного и существенного вопроса в деле о судьбе хлопчатобумажной промышленности в России, — именно относительно состояния и влияния на наш экономический быт наших хлопчатобумажных фабрик. На эти-то замечания и должно быть обращено главное внимание при оценке его брошюры и суждении о степени основательности его мнения. Практические наблюдения его много могут содействовать прояснению вопроса. Надобно только желать, чтобы ученые, которые будут судить о брошюре г. Шипова, рассматривали его мнение с чисто-ученой точки зрения, не ограничивая своих возражений ни одними общими местами, ни одними общими осу-

ждениями г. Шипова за то, что он держится протекционной системы. Но большей частью у нас делается иначе: «вы протекционист? — этого довольно; мы осуждаем вас безусловно».

У нас вообще очень мало развита терпимость мнений. Так, например, по вопросу о свободной торговле, из ученых, держащихся мнения, что протекционная система невыгодна, многие воображают, что противное мнение могут защищать только люди, имеющие в виду свой личный интерес, а не общую пользу; они даже готовы все человечество и в умственном и в нравственном отношении делить на две половины ради одного того, как думают люди о свободной торговле; одна половина человечества — люди честные, умные, ученые, это все те, которые думают, что тариф должен быть понижен; другая половина — невежды, корыстолюбцы — это все те, которые думают, что должны быть охраняемы тарифом наши мануфактуры. Тут присоединяется еще другая привычка: лишь только вы сказали, что не все протекционисты невежды и корыстолюбцы и что в протекционной системе есть, при всех ее ошибочных сторонах, элемент, не заслуживающий осуждения, и, напротив, не все в системе людей, защищающих свободную торговлю, заслуживает безусловного сочувствия, тотчас же защитники свободной торговли объявляют вас протекционистом, а протекционисты восклицают, что вы, наконец, сделали протекционистом, хотя бы вы положительно говорили, что защитники свободной торговли, по вашему мнению, имеют на своей стороне гораздо более справедливости, нежели протекционисты.

С нами на-днях случилось нечто подобное по вопросу о славянофильстве. Много раз мы очень ясно повторяли в тех статьях, которые касались славянофильства, что нимало не разделяем и не видим для себя никакой возможности когда-либо разделять те особенные мнения, на основании которых славянофилы отделяют себя от так называемых западников, и на основании которых многие западники безусловно осуждают славянофилов, воображая, что в славянофилах нет ничего иного, кроме этих странных заблуждений. Мы положительно говорили, что о всех этих спорных между славянофилами и западниками пунктах мы думаем точно так же, как самые ревностные западники. Но с тем вместе мы говорили, что, кроме этих ошибочных мнений, о которых идет спор между славянофилами и западниками, есть у лучших между славянофилами и другие убеждения, гораздо более важные для жизни, в которых есть сторона справедливая и о которых подобно им думает большая часть лучших людей между так называемыми западниками. Одно из таких убеждений мы указали в предыдущей книжке<sup>3</sup>, прибавляя, что это убеждение принадлежит исключительно славянофилам, а принадлежит современной науке, и что славянофилы заслуживают похвалы за то, что в этом важном деле поняли требования современной науки, хотя (повторяли мы бесчисленное множество раз) они вовсе не заслуживают

одобрения за те ошибочные свои мнения, из-за которых ведется спор между ими и западниками и в которых мы совершенно согласны с западниками.

Что же произошло? «Молва»<sup>4</sup> вообразила, что мы сделались или готовы сделаться славянофилами! Вот подлинные ее слова:

«В № 5 «Соврем[енника]» прочли мы статью «Заметки о журналах». Отзыв «Современника» об «Молве» неслетен. Прав ли «Современник» в своем мнении, не нам судить: никто в своем деле судьей быть не может. Мы же с своей стороны от души радуемся этой статье и приветствуем ее как явление доброе и утешительное. Журнал, в котором постоянно участвуют писатели с истинным, всеми признаваемым дарованием, обратил внимание серьезное и добросовестное на те мнения, которые у нас в первый раз выражены были славянофилами, на те мнения, которыми отличается их направление. Он признал, что взгляд их на жизнь народной общины ставит их выше противоположной им школы и содержит в себе начало плодотворное по преимуществу. Радуемся от души. Тот, кто признал это основное начало, уже стал на прямом пути, на добром пути к дальнейшему развитию всякой разумной мысли. Бог помочь! скажем мы. Вперед! что бы вы ни говорили о «Молве». Вопрос личный для нас никакого значения не имеет.

«Дело начато; и мы верим от души, что оно не остановится. «Современник» вникнет еще глубже во мнения славянофилов: он увидит, что то великое начало, ими поставленное, и которому он сочувствует, есть еще только внешняя основа. Глубже, глубже коренятся другие еще высшие начала, из которых выросло самое понимание общины, и, мы надеемся, «Современник» их поймет и будет им сочувствовать».

К сожалению, надежды эти неосновательны. Мы очень положительно и много раз выражали свое мнение о тех «высших» началах, из которых, по мнению «Молвы», «выросло понимание общины», и каждый раз говорили, что относительно этих туманных начал держимся таких же мнений, как самые ревностные западники; то убеждение, о котором шла речь в прошлом номере «Современника», мы считаем справедливым, потому что справедливость его доказана западной наукой, а все то, в чем славянофилы противоречат западной науке, нами положительно и решительно отвергается, потому что решительно не выдерживает научной критики и противоречит историческим фактам.

Взгляд на общину, который мы защищаем, принадлежит западной науке, а не славянофилам; мы полагаем, что славянофилы разделяют его, и говорим, что в таком случае они справедливы настолько, насколько соглашаются с истинами, доказанными западной наукой, ни больше, ни меньше.

Если славянофилы хвалят нас за то, что мы одобряем их мнения о предметах, о которых они думают согласно с западной наукой, мы очень были бы благодарны за такую похвалу. Если же они полагают, что мы им сочувствуем или можем когда-нибудь сочувствовать в чем-нибудь отвергаемом западной наукой, или опровергаемой фактами нашей истории или нашего быта, они совершенно ошибаются. Это мы говорим, вообще относясь к славянофилам. Что же касается до того, что нас вздумала похвалить

«Молва», мы чрезвычайно огорчены тем, что прочитали похвалу себе в газете, допускающей на свои страницы неприличные выходы против партии, гораздо более нами уважаемой, нежели партия славянофилов, и оскорбительную брань на людей, ученые и литературные заслуги и благородство мнений которых мы высоко, очень высоко ценим, как, например, брань на гг. Забелина, Каткова, Леоптьева, Павлова, Соловьева, Чичерина и других. Похвалу себе от такой газеты мы принимаем за величайшую неприятность, какой только может подвергнуться человек или журнал, и покорнейше просим «Молву» пощадить нас от своих похвал, пока не изменит она своего тона настолько, чтобы можно было принимать ее похвалы без стыда.

Но это было постороннее. Возвратимся к вопросу о том, каким же образом можно в известных случаях находить справедливость на стороне протекционистов, вовсе не будучи протекционистом, или находить у некоторых славянофилов справедливые убеждения относительно некоторых вопросов, нимало не будучи славянофилом?

Относительно вопроса о свободной торговле и протекционизме мы сошлемся на пример покойного Журавского и приведем отрывок из составленного под его редакцией «Описания Киевской губернии»<sup>5</sup>, — отрывок, который мы уже приводили в разборе этой превосходной книги («Современник», 1856 г., № 8). Исчислив ценность фабрично-заводских произведений Киевской губернии и количество работников, занятых этим производством, Журавский продолжает:

«Это исчисление еще далеко от точности, нужной для положительных заключений; но наверное можно сказать, что оно ниже действительного числа мастеровых рабочих, употребленных на здешних фабриках и заводах, даже и в таком случае, если считать наемных 5000 и крепостных 16 000, всего 21 000. Это весьма любопытные числа, собрание которых рекомендуем статистическим изыскателям, ибо они имеют близкую связь с некоторыми экономическими вопросами, и между прочим с новейшим вопросом о свободной торговле. По нашему мнению, применяя его теоретически к нашему отечеству, надобно более иметь в виду пользу значительного класса промышленников, заинтересованных в сохранении и процветании отечественных фабрик, нежели выгоды потребителей фабричных произведений, составляющих самый малочисленный, а вместе и достаточный класс нашего населения. Из приведенного исчисления видим, что для фабричного производства одной губернии нужно до 21 000 рабочих; приобретаемая каждым из них плата имеет прямое влияние на благосостояние как самих работающих, так и семейств их; следовательно, полагая средним числом до 5 душ семейство на каждого работающего, можно заключить, что до 100 000 душ заинтересовано в фабричном производстве одной губернии. Предположивши теперь, что, вследствие свободного привоза заграничных фабричных изделий дешевых, прочных и красивых, подобные же изделия здешних фабрик будут вытеснены из торговли, а вместе с тем закроются и самые фабрики; тогда, конечно, многие из питающихся теперь от фабрик лишались бы куса хлеба, ничего не выигравши от свободного привоза, ибо простой народ почти вовсе не потребляет фабричных изделий; вся выгода была бы на стороне достаточных классов. Но это могло бы случиться тогда только, когда все руки,

употребляемые на фабриках, работали бы по вольному найму и без раздела заработков; в настоящем же положении здешней фабричной промышленности, почти три четверти рабочих из крепостных крестьян не заинтересованы в сохранении помещичьих фабрик, на которых работа по большей части невыгодна и тягостна, подрыв и уничтожение этих фабрик было бы, может быть, благом для работающих поневоле. Так сложны и отличны от других народов наши экономические интересы в настоящее время! И нельзя не пожелать, чтобы наши ученые, применяя к ним вопросы современной науки, не теряли из виду этих особенностей, а, напротив, усиливались бы привести их в самую точную известность наблюдениями и статистическими изысканиями»<sup>6</sup>.

Из этого очень ясно видно, что Журавский вообще не хотел быть ни безусловным приверженцем свободной торговли, ни протекционистом. Почему же так? Это очевидно. Он стоял на другой точке зрения, гораздо более высокой, нежели основание, по которому разделяются приверженцы той и другой системы. Протекционисты говорят: «Во что бы то ни стало, покровительствуйте фабрикам». Приверженцы свободной торговли говорят: «Во что бы то ни стало, увеличивайте цифру заграничной торговли». Журавский ни того, ни другого принципа не принимал основным правилом экономической науки. Он говорит: «Прежде всего и больше всего надобно думать о народном благосостоянии. Все, что содействует ему, я защищаю. Все, что вредит ему, я отвергаю. Если в данной стране, в данное время, при известных обстоятельствах фабрики нужнее для благосостояния народа, нежели увеличение цифры заграничной торговли и дешевизна фабричных продуктов, я защищаю фабрики в этой стране и готов быть протекционистом на этот раз. Если же фабрики в данной стране, в данное время и при известных обстоятельствах невыгодны для народного благосостояния, то я противник этих фабрик в этой стране и защищаю свободную торговлю, которая уничтожит эти фабрики».

«Но в таком случае, скажете вы, Журавский не имел точно определенного, совершенно самостоятельного взгляда на вопрос о том, какова должна быть национальная промышленность, если он готов был в иных случаях признавать справедливость протекционистов, в других — соглашаясь с защитниками свободной торговли». Он не хотел ни того, что хотят одни, ни того, что хотят другие; что же он хотел? Он хотел совершенно иного, и если вы желаете узнать, что именно хотел он, то прочтите следующий отрывок из «Описания Киевской губернии».

«Как в сельском хозяйстве важное место занимает вопрос о преимуществах больших или малых хозяйств, так и в фабричной промышленности представляется тот же вопрос: какая фабрикация, большая или малая, полезнее для производителей и для потребителей? Здесь прежде всего надобно определить, что разуметь большою фабрикациею и что малою. Первая, конечно, та, которая для производства соединяет в одно целое работу многих рук, распределяя между ними части изделия, или заменяет большую часть рук машинами; таковы все заведения, называемые фабри-

ками, мануфактурами, заводами, требующими более или менее значительных капиталов, вкладочных и оборотных. Малая фабрикация состоит в ручной выделке, при пособии некоторых простых машин и снарядов, одного или нескольких рабочих, а чаще и вовсе без них, одним семейством, низших сортов некоторых изделий, производимых настоящими фабриками. Так, например, сукно, полотно, тесемки, пряжа, шляпы, ножи, свечи, посуда, кирпич, черепица и т. п. выделяются большими массами, лучших сортов на фабриках, и те же самые изделия производятся без всякого почти капитала крестьянскими семействами и разными мелкими промышленниками для собственного употребления и для продажи. Разумеется, изделия последних весьма не совершенны и не могут достигать тонкости и чистоты отделки, возможной теперь только на фабриках; но это надобно приписать более несовершенству употребляемых ими машин и снарядов и низкой степени искусства у большей части мелких фабрикантов. Несомненно, что подобные произведения могут достигать высокой степени достоинства, чему примером служат: полотно костромских крестьян, изделия некоторых тульских оружейников, лионские шелковые изделия, вырабатываемые не на фабриках, а мастерскими в своих жилищах, при пособии семейства и наемных рабочих, голландские кружева и т. п. Все это произведения домашней фабрикации, показывающие, что при благоприятных обстоятельствах ловкость человеческих рук, и при самых простых снарядах, может с выгодой соперничествовать с многосложными и дорогими машинами больших фабрик. И если ручное производство по сию пору так мало облегчено и распространено, так мало сделало успехов в искусственном отношении, то это оттого, что все усилия ума ученых и техников нашего времени направлены на изобретения и улучшения больших машин, служащих для фабричного производства. На мелких фабрикантов никто из них не удостоивает обратить внимание, никто не подумает, какими бы средствами сократить ручную работу, улучшить употребительные донные снаряды и машины, ввести новые, сделать доступною, для каждого семейства, в малом размере, выработку предметов, возможную донные только для больших фабрик. Между тем этот предмет заслуживает особенного внимания по огромному числу заинтересованных в нем семейств, и представляет обширное поле изобретательности первоклассных умов; изобретения, подобные самопрялке, сделавшейся всеупотребительною у простого народа, могут быть всякие усовершенствований фабричных машин. По крайней мере, это справедливо относительно нашего отечества, где большая фабрикация по сию пору обращается в пользу достаточного класса потребителей их произведений, как-то: сахара, тонких сукон и полотен, столового белья, шелковых изделий, табаку и сигар и т. п.; все эти предметы или не нужны, или недоступны по цене нашему простому народу, т. е. более  $\frac{3}{4}$  всего населения государства. При нынешних нравах, быте и состоянии этой огромной массы народа, заключающей в себе не менее 45 миллионов душ, они имеют и долго еще будут иметь потребности, различные от потребностей высших классов, не удовлетворяемые большою фабрикациею. Для них-то и необходимы улучшения в малой фабрикации, которая могла бы, с одной стороны, снабжать простой народ прочными, хорошо обработанными и дешевыми изделиями, а с другой — водворять довольство в семействах производителей, особенно не обеспеченных в пропитании хлебопашеством. Впрочем, мы вовсе не разумеем, что мелкая фабрикация могла заменить большую; обе они могут идти рядом, развиваться и совершенствоваться одновременно, по различию состояния потребителей той и другой; только первая, как значительно отставшая от последней, более требует теперь, по нашему мнению, прощрения и внимания ученых и правительства, особенно это важно в видах улучшения нравов и охранения от порчи простого народа.

«Мелкая фабрикация, как мы сказали, требует для производства более или менее простых машин и снарядов; для ткачей станки, для кожевников чаны, для свечников разная посуда, литейные формы и т. д. Этими при-



надлежностями мастерства она отличается от ремесл, требующих для производства ручных инструментов, которых замена машинами по большей части или неудобна, или невозможна. Если угодно, и ремесло, производимое в большом размере, может стать на степень фабрики, вследствие деления труда. Так, например, в большой мастерской портного, где работает человек двадцать, один исключительно занимается кройкою, другие отделкою петлиц и бортов; третьи — тровицами и т. д. Из соединения всех этих частей выходит целое платье. Но, с другой стороны, и из малых фабричных мастерств может образоваться большое фабричное производство, с сохранением домашнего характера фабрикации. Каждый фабрикант может заниматься дома одной какой-либо степенью производства, и изделие, переходя из одних рук в другие, делается, наконец, настоящим фабричным изделием. Такого рода выделка фабричных сукон и полотен низших сортов существует в некоторых местах Киевской губернии и в большем против прочих размере в м. Коростышеве Радомысльского уезда. Лет двадцать тому несколько семейств иностранцев, выходцев из Царства Польского, поселились в этом местечке и занялись почти исключительно выделкою сукна и полотна. Неизвестно, от них ли переняли коростышевские жители это мастерство, или еще прежде занимались им, только в настоящее время считается там 16 мастерских этого рода, из числа которых в десяти готовят пряжу и ткнут, в двух — красят, в двух ткнут холст, а иногда и шерсть, и в двух стригут и ворсуют сукно; хозяева двух последних мастерств сами разводят ворсовые шišки. Во всех этих мастерских действует следующее число машин: прядильных — 15, ворсовательных — 17, постригальных — 2, волчков — 17, ткацких станков: для сукна 18 и для полотна 26; из последних 6 принадлежат иностранцам, все прочие — местным жителям. Каждая штука сукна выделывается соединенными силами нескольких фабрикантов и переходит из одних рук в другие до окончательной отделки. Шерсть, краски и другие материалы покупаются в Бердичеве или получаются от купцов в обмен на сукно. Выделывается ежегодно до 320 штук сукна, на сумму до 2 600 р. серебр[ом]. Многие из значительных статей расхода, свойственных большим суконным фабрикам, как-то: на жалованье и содержание мастеров, рабочих и официалистов, на многие материалы, нужные для выделки высших сортов, на доставку этих материалов, на проценты от огромных вкладочных капиталов и тому подобное; все эти статьи не существуют в малой фабрикации коростышевских сукон, и весь ее расход не превышает половины выручки, т. е. в чистый доход фабрикантам остается около 1300 р. сер[ебром], что составит средним числом, до 80 р. сер[ебром] на семейство, не считая прибыли от выделки полотна. Высшая цена выделываемых ими сукон до 2 р. сер[ебром] за аршин; но такого сорта делают очень мало, а обыкновенно ценю в 1 р. 50 к. и в 1 р. 30 к. сер[ебром] аршин. Если оказывается надобность в высшем сорте, то для окраски и окончательной отделки таких штук посылают их на Хабенскую суконную фабрику.

«Другой подобный пример выделки полотен мы привели в описании колонии менонитов в Бердичевском уезде (см. ч. II, отд. V). Ткачество составляет у них принадлежность каждого хозяйства, и этим искусством они выработывают в продолжение зимы холста: из собственного материала на сумму до 500 р. сер[ебром], из постороннего по заказам — до 800 р. сер[ебром]; и это — чистая их прибыль, не считая холста, употребленного на собственные надобности.

«Сукна и полотна, выделываемые в означенных местах, хотя далеко ниже добротой и ценою против подобных же изделий больших фабрик, однако и они далеко превышают средства самой большей части потребителей, т. е. крестьян, которые не в состоянии платить до 1 р. 30 к. и 1 р. 50 к. сер[ебром] за аршин сукна себе на платье, или по 30 к. сер[ебром] за аршин полотна на белье. Для них возможно только самое простое сукно, которого цена здесь от 25 до 30 к. сер[ебром] арш., а холст от 6 до 8 к. сер[ебром] аршин. Выделкою как этих предметов, так и многих других, нужных для

одежды и хозяйства сельских жителей, занимаются в селениях по большей части крестьяне, не находящие в хлебопашестве достаточных средств к пропитанию, также состоящие при господских дворах мастеравыми, в свободное от господской работы время, разных званий вольноживущие в селениях и в местечках. Их произведения, как-то: простое сукно и шитье из него: армяки или свиты, грубый холст, выделанные овчины и готовые тулупы, шапки и шляпы, сапоги, плахты, запаски, глиняная посуда, тележные части и множество других предметов, выставляются на продажу на всех ярмарках и базарах, в местечках и селениях. К сожалению, мы не можем сообщить подробностей касательно способов выделки этих товаров».

Из этого мы довольно ясно видим, что у Журавского был свой самостоятельный, независимый от споров между протекционистами и приверженцами свободной торговли и очень определенный взгляд на отношения фабричного производства к потребностям страны. Он не колебался между двумя спорившими партиями. Он твердо стоял на своей точке зрения, с которой мог беспристрастно обсуждать желания обеих партий. Каждую из враждующих между собой партий он одобрял за то, что в ее желаниях сообразно с народным благосостоянием. Быть может, и очень даже вероятно, он жалел, зачем такие деятельные споры ведутся с точки зрения не довольно возвышенной. Быть может, и очень даже вероятно, что он жалел, зачем протекционисты и защитники свободной торговли, поднимая такой сильный спор из-за вопроса о фабриках, так легко забывают в пылу своего увлечения, что существуют в науке точки зрения более возвышенные, нежели увеличение фабричного производства или заграничной торговли; забывают так часто и так легко, что вопросы, о которых они спорят, имеют существенную важность только по своим отношениям к высочайшему вопросу науки, вопросу о народном благосостоянии, и только на основании этих отношений должны быть разрешаемы так или иначе.

Признаемся, что в вопросе о свободной торговле и национальном фабричном производстве мнение Журавского кажется нам совершенно справедливым. Признаемся, что мы в этом случае всегда готовы стать на стороне той партии, которая успеет доказать, что ее решение вопроса сообразнее с народным благосостоянием. Признаемся также, что до сих пор не видим, чтобы та или другая партия хотела положительным образом доказать это, потому что ни та, ни другая не заботилась достаточно о доказательствах подобного рода. Признаемся также, что решениям той и другой партии мы предпочитаем совершенно иное решение, предложенное Журавским в последнем из приводимых нами отрывков. Смысл этого отрывка таков: больше, нежели о возрастании фабричного производства, больше, нежели об увеличении заграничной торговли, надобно заботиться о развитии домашней выделки фабричных изделий. Для этой выделки надобно желать прямого покровительства. Что же касается до вопроса о том, полезно ли прямое покровительство фабрикам, то при разрешении

его надобно было бы иметь в виду не столько отношения наших фабрик к заграничному производству подобных товаров, сколько отношение их к благосостоянию класса людей, находящих на них работу, и еще более, отношение фабрик к домашней выделке фабричных изделий.

Нечто подобное всегда было и, надеемся, будет в нашем взгляде на споры, разделяющие славянофилов от западников. Много раз мы говорили, что не придаем первостепенной важности тем вопросам, из-за которых славянофилы вздумали разделять себя от западников. Нет сомнения, что вопросы эти имеют некоторую и даже довольно значительную важность для науки и для жизни. Но гораздо важней их многие другие вопросы, которые стоят выше точки деления между славянофилами и западниками, как, например, вопрос о необходимости просвещения, о необходимости возможного содействия успехам литературы, наконец вопрос о народном благосостоянии. Тут нет раздела на славянофилов и западников; тут люди разделяются по степени своего сочувствия к народному благу и к решениям этого вопроса, даваемым современной наукою. По нашему мнению, хотя бы я был самым ревностным западником, я все-таки не буду заслуживать ни малейшего сочувствия от достойных уважения людей, если под моим западничеством скрывается обскурантизм или апатия; хотя бы я был самым эксцентрическим славянофилом и хотя бы я даже носил те желтые саложки, над которыми столько смеялись, я все-таки заслуживал бы самого сильного сочувствия со стороны достойных уважения западников, если бы я, с той же энергией, как они, желал распространения просвещению, успехов литературе и особенно разрешал бы в таком же смысле, как они, вопросы, прямо касающиеся народного благосостояния. Если бы я имел совершенно ложный взгляд на древнюю Русь, если бы я не только воображал, что в XV или XIII веке между нашими предками было много людей, в совершенстве знавших греческий язык и постигших Платона и Аристотеля лучше, нежели западные их современники; но даже если бы я воображал, что в те времена Русь имела множество железных дорог, все эти заблуждения можно было бы извинить мне, если только в настоящее время я считаю полезным изучение Платона и Аристотеля с их преемниками и проведение железных дорог.

**О свободной международной торговле. Из путевых записок  
А. Сербера-Медельгейма. Москва. 1857<sup>1</sup>**

Г. П. Андреев, переводчик одной главы из «Путевых записок» Сербера-Медельгейма, в предисловии уверяет нас, будто бы этот автор чрезвычайно основательно и хорошо рассматривает вопрос о необходимости протекционной системы для Франции и будто бы

он очень убедительно доказывает пагубность низкого тарифа для Франции. Мы, к сожалению, не нашли ни убедительности, ни основательности в отрывке, переведенном трудами г. П. Андреева. Слишком горячие приверженцы свободной торговли могут, пожалуй, заподозрить нас в сильной склонности к протекционной системе, прочитав нашу статью о книжке г. Шипова. Но нам кажется, что люди беспристрастные увидят в ней взгляд, совершенно различный от тех мнений, которые могут нравиться протекционистам. Здесь надобно прибавить, что вообще протекционисты защищают свое дело с такой узкой точки зрения чисто фабричных интересов, которая едва ли кому-нибудь, кроме фабрикантов, может казаться удовлетворительной, и вводят на систему свободной торговли такие обвинения, которые по меньшей мере забавны. Вот хотя бы Сербер-Медельгейм воображает, будто бы англичане, устанавливая у себя низкий тариф, имели целью погубить Францию, а Франция будто бы такая земля, которая может производить в избытке все, нужное для ее жителей, в том числе вероятно кофе и хлопчатую бумагу. Каждый, имеющий хотя малейшее понятие о деле, видит нелепость таких странных уверений. Каждый знает, что англичане понизили свой тариф потому, что это для них самих было выгодно, а вовсе не для того, чтобы губить Францию или огорчать Сербер-Медельгейма. Каждый знает также, что если кто-нибудь вредит Франции, то, конечно, не англичане, а французы, подобные Сербер-Медельгейму, который, чтобы поддержать высокую цену на железо своего завода, готов был бы не только запретить ввоз во Францию английского железа, совершенно для нее необходимого, но, пожалуй, рад был бы окружить Францию китайскою стеною. Само собою разумеется, что уже если бы и пришлось выбирать между французскими железозаводчиками и французскими защитниками свободной торговли, то надобно было бы согласиться, что на стороне последних вообще гораздо более справедливости, а в частности, по вопросу о том, нужно ли понизить пошлину во Франции на привозное железо, надобно сказать, что справедливость решительно вся на стороне французских приверженцев свободной торговли. Дешевизна железа могущественно содействует улучшению народного быта. Англия производит железо по цене гораздо более дешевой, нежели Франция. Несправедливо задерживать развитие народного благосостояния во Франции запрещением или высокими пошлинами на английское железо для того, чтобы французские железозаводчики могли продавать свое железо по высокой цене, обременительной для французской нации. Но Сербер-Медельгейм защищает свой частный интерес, противный общему национальному интересу. Человеку, защищающему несправедливое дело, или должны представляться вещи в ложном свете (если он не понимает своей несправедливости), или (если он понимает неспра-

ведливость дела и однако же защищает его) должно быть равно приятно и несправедливые средства, лишь бы только защититься. Потому-то Сербер-Медельгейм и доходит до такой крайности, что превозносит даже знаменитую континентальную систему Наполеона, — систему, которая не только была разорительна для Европы, в том числе и для Франции, но была одною из главных причин падения и самого Наполеона. Мнения таких людей, как Сербер-Медельгейм, защищать невозможно, и опираться на их помощь для защиты своих мнений — совершенная ошибка.

**Путешествие по Восточной Сибири. И. Булычева, Императорского Географического общества действительного члена. Часть I. Якутская область. Охотский край. С.-Пбург. 1856<sup>1</sup>**

Не каждый год издаются у нас частными людьми такие великолепные вещи, как атлас рисунков, приложенный к книге г. Булычева. Атлас состоит из шестидесяти пяти больших листов, изображающих виды городов Восточной Сибири, между прочим Якутска, Олекминска, Охотска, Петропавловского порта, виды различных замечательнейших зданий и остатков древностей в Восточной Сибири, виды различных местностей, жилища и домашний или кочевой быт различных инородцев, населяющих Восточную Сибирь, их одежду и прочее. Литографированы рисунки прекрасно. Многие из них раскрашены также прекрасно. По отзывам людей, знающих Восточную Сибирь, они очень удовлетворительно и верно знакомят нас с этою страню и бытом ее жителей. Издание таких роскошных атласов у нас в России требует очень значительных денежных пожертвований со стороны издателя, и, конечно, г. Булычеву приносит большую честь, что он предпринял такое прекрасное дело. Текст книги надобно рассматривать, главным образом, как объяснение великолепного атласа. Он заключает в себе краткое обозрение истории Сибирского края и путевые заметки, веденные г. Булычевым во время его многочисленных разъездов по Сибири и дополненные отчасти обозрением сибирских архивов, отчасти извлечениями из других источников сведений наших о Восточной Сибири.

**Статистические труды И. Ф. Штукенберга. Статья II. Описание Оренбургской губернии с Уральско-Оренбургскою линиею. Статья III. Описание Ставропольской губернии с землею Черноморских казаков. Перевод с немецкого. С.-Пбург. 1857**

Мы помещаем здесь заглавие двух вновь вышедших книжек почтенного издания, о начале которого недавно говорили<sup>1</sup>, для того, чтобы наша заметка заменяла объявление о продолжении из-

дания, достоинства которого уже признаны всеми людьми, занимающимися у нас изучением России в географическом, статистическом, сельскохозяйственном или промышленном отношении.

Издатель, сын покойного Ивана Федоровича Штукенберга, ко второй статье приложил краткую биографию своего отца, которая первоначально была напечатана в «С.-Петербургских ведомостях». В этой краткой биографии мы находим известия об автобиографии, доведенной И. Ф. Штукенбергом до 1845 г. Надобно желать, чтобы эта автобиография была издана<sup>2</sup>. Жизнь таких честных, энергических и полезных людей, как Штукенберг, всегда имеет интерес. Потому надобно желать также, чтобы издана была и подробная биография его, написанная его сыном, переводчиком и издателем его «Статистических трудов».

< ИЗ № 8 «СОВРЕМЕННОГО» >

**Сочинения и письма Н. В. Гоголя. Издание П. А. Кулиша.**  
*Шесть томов. Спб. 1857<sup>1</sup>*

Очень долго наша критика, при каждом новом издании сочинений того или другого знаменитого писателя, должна была жаловаться на неполноту и неудовлетворительность этого издания. Наконец дожили мы до хороших изданий, составленных внимательно людьми знающими. Издание сочинений Гоголя, сделанное г. Кулишем, конечно, не свободно от некоторых недостатков. Многие из них уже указаны г. Лонгиновым<sup>2</sup>, другие, вероятно, будут указаны другими нашими библиографами. Но все эти недостатки — опущение некоторых, впрочем вовсе неважных, мелких статей, некоторые отступления от хронологической системы, некоторые опечатки и т. п. — совершенно незначительны в сравнении с достоинствами издания, за которое нельзя не благодарить г. Кулиша. Оно уже известно большей части наших читателей и нет надобности описывать его. Читатель знает, что в четырех первых томах собраны сочинения, бывшие до сих пор рассеянными в одиннадцати книгах (шесть томов сочинений в издании г. Трушковского, два тома «Мертвых душ», два тома «Арабесков» и «Переписка с друзьями»); два последние тома составились из писем Гоголя, и о них-то мы преимущественно будем говорить в этой статье, заметив только, что г. Кулиш сделал очень хорошо, поместив в обеих редакциях те сочинения Гоголя, которые были в значительной степени переделаны автором, именно: «Тараса Бульбу», «Портрет» и сохранившийся отрывок второго тома «Мертвых душ». «Тарас Бульба» и «Портрет» равно известны публике, как в первоначальном, так и в исправленном своем виде; но отрывок «Мертвых душ» в первый раз является теперь в двух редакциях, сравнение которых чрез-

вычайно интересно. Оно показывает, каким образом Гоголь давал все больше и больше развития тому, что называл в последние годы своей жизни высоким лирическим порывом и что казалось довольно неловкою напыщенностью людям, сожалевшим о том болезненном направлении Гоголя, из которого возникла «Переписка с друзьями» и «Развязка Ревизора».

Неуместный и неловкий идеализм, столь сильно отразившийся на втором томе «Мертвых душ» и бывший главной причиной не только потери Гоголя для искусства, но и преждевременной кончины его, до сих пор составляет интереснейший вопрос в биографии нашего великого поэта. «Записки о жизни Гоголя», изданные в прошедшем году<sup>3</sup>, доставили людям, не знавшим лично Гоголя, первые материалы для того, чтобы судить о причинах и характере этого направления, столь прискорбным образом изумившего публику при издании «Переписки с друзьями». «Письмами Гоголя», ныне изданными, число этих материалов значительно увеличивается, но и в настоящее время публика далеко еще не имеет всех биографических данных, нужных для совершенно точного решения сомнений и подозрений, возбужденных тем настроением, какое обнаруживал Гоголь в последние десять лет своей жизни. Воспоминаний о Гоголе напечатано довольно много, но все они объясняют только второстепенные черты в многосложном и чрезвычайно оригинальном характере гениального писателя. Мы знаем теперь из этих воспоминаний, что в молодости он был большим забавником и балагуром; мы знаем, что уже и в молодости он не любил говорить о мыслях и чувствах, наиболее занимавших его душу, стараясь шутками придать разговору легкое, смешное направление, отклонить разговор от таких предметов, говорить о которых не мог бы без волнения; мы знаем, что в молодости он любил франтить и франтил очень неудачно; мы знаем, что в молодости он два или три раза испытывал чувство страстной любви, в способности к которому иногда отказывали ему до издания записок о его жизни; мы знаем, что болезненность его происходила главным образом от геморoidalного расположения и от хронического расстройства желудка. Все эти сведения, конечно, не совершенно ничтожны, но они совершенно недостаточны для разрешения вопросов, имеющих наиболее важности в нравственной истории Гоголя. «Писем Гоголя» напечатано г. Кулишем уже очень много. Корреспонденция самого Пушкина, собранная полнее, нежели переписка какого бы то ни было другого русского литератора, далеко уступает своим объемом собранию «Писем Гоголя», напечатанному в нынешнем издании. Но эти письма во многих случаях остаются еще непонятными отчасти потому, что мы все еще очень мало знаем факты жизни Гоголя, отчасти потому, что ответы его друзей, долженствующие служить необходимым дополнением к его собственным письмам, остаются до сих пор и,

Вероятно, довольно долго еще останутся ненапечатанными; отчасти, наконец, потому, что эти письма напечатаны по необходимости очень неполно: в издании пропущены многие отрывки, из которых иные должны быть интереснее всего напечатанного, — пропущены, кажется, и некоторые письма. Надобно также прибавить, что о людях, бывших в близких сношениях с Гоголем, кроме одного Пушкина, не напечатано до сих пор почти ничего; почти ничего не напечатано до сих пор и об общем характере тех кружков, к которым принадлежал Гоголь, и тех сословий, среди которых он жил. Таким образом материалы для биографии Гоголя, хотя и имеют объем очень обширный, далеко недостаточны. Публика до сих пор почти ничего прямым образом не знает о том, какими именно стремлениями руководился Гоголь. «Желание изобличать общественные раны», — по выражению, осмеянному самим Гоголем, это желание слишком неопределительно. Тут нужно бы знать, что именно казалось Гоголю дурным в современном обществе. «Но, кажется, мы это очень хорошо знаем: ему казалось дурно, что у нас существует взяточничество и неправосудие, апатия, развлекаемая только сплетнями и преферансом, и так далее, и так далее». Все это так, но из всего этого еще ничего не следует. На взяточничество и тому подобные пороки нападал не один Гоголь, нападали чуть ли не все наши писатели от Державина (чтоб не заходить слишком далеко в древность) до г. Бенедиктова. Щедрина и графу Соллогубу одинаково неприятно, что у нас существует взяточничество. Оба они нападают на этот порок, но между тем как Щедрина все прославляют, над графом Соллогубом все посмеялись: <sup>4</sup> почему так? потому, что вражда против взяточничества возникает у этих двух писателей из убеждений совершенно различных; потому что порок, на который нападают эти писатели, понимают они совершенно различно. Мало того, чтобы знать, что нравится или что не нравится писателю, — важно также знать, на основании каких убеждений этот предмет ему нравится или не нравится; нужно знать, от каких причин производит он недостаток, на который нападает, какими средствами считает он возможным истребить злоупотребление и чем предполагает он заменить то, что хочет искоренить. Нужно знать образ мыслей писателя. Каждый знает образ мыслей Пушкина, Жуковского; но образ мыслей Гоголя до сих пор еще недостаточно известен. «Как не известен? По крайней мере, очень хорошо известно то направление, какое получила его мысль в последние годы. Аскетизм подавил в нем всякие другие начала». Будто и довольно знать это? Повторим: все это слишком неопределительно; аскетизм выражение слишком общее; аскетическое направление имеет совершенно различный смысл, смотря по тому, из каких идей и стремлений вытекает. Аскетизм проповедывал Иоанн Златоуст, и каждый благомыслящий человек отдает полную справедли-



вость здравости его проповеди, возникающей из благородного негедования на развратную и пустую роскошь тех людей, к которым была обращена она. Этим людям, губившим родину и тиранившим свой народ для удовлетворения своих пошлых страстей, действительно нужно было напоминание о власянице и черством хлебе. Аскетизм проповедывал также Массильон при дворе Людовика XIV, и каждый согласится, что проповедь Массильона была благородна и справедлива; действительно нужно было говорить этим развратным и жестокосердным вельможам об огне вечном и скрежете зубовном. Таких проповедников аскетизма нельзя смешивать с какими-нибудь иезуитами, у которых цель проповеди об аскетизме состоит в приучении несчастных и голодных к мысли, что они вечно должны быть голодными и должны радоваться тому, что такова их судьба; [состоит в том, чтобы в людях, подавленных несправедливостями и оскорблениями, подавлять всякую мысль о борьбе против несправедливостей и притеснений]. Вы сказали: «аскетизм» и думаете, что этим уже все решено. Одно слово само по себе ничего не значит. Скрываются часто самые пагубные стремления под самым прекрасным слогом. Прочитайте речи южных ораторов Северной Америки: они отвергали выбор Фримонта<sup>5</sup> во имя законности, во имя отцовской любви, во имя просвещения. Впрочем, к чему нам ходить далеко? [Припомните статейки г. Бланка: каких прекрасных слов не положил он в основание своего желания! Тут и патриотизм, тут и законность, тут и справедливость, тут и общее благо, тут и заботливость о тех меньших братьях, о которых велел заботиться Христос.] С другой стороны, еще чаще стремления благородные и действительно полезные были в глазах многих унижаемы теми неблагоприятными словами, к которым защитники этих стремлений прибегали, или по одностороннему увлечению, или по стечению неблагоприятных обстоятельств. Как часто говорили об ожесточенной вражде и кровавых распрях и насильственных переворотах люди, всей целью жизни которых было всеобщее примирение, любовь и тишина! Слова еще ничего не значат; нужно знать, из каких стремлений возникают слова.

«Письма Гоголя» и напечатанные до сих пор воспоминания о нем людей к нему близких не знакомят нас с его образом мыслей настолько, чтобы можно было прямым образом решить по ним, каков именно был этот человек, одаренный характером, исполненный, повидимому, противоречий, какую общую идею была проникнута его нравственная жизнь, представляющаяся на первый взгляд столь нелогической, бессвязною и даже нелепою. Мы хотим попробовать, нельзя ли за недостатком положительных свидетельств сколько-нибудь приблизиться к решению вопроса о нравственной жизни Гоголя путем соображений.

Догадки и соображения никогда не должны иметь притязания на безусловную основательность. Гипотеза остается гипотезою,

пока факты не подтвердят ее, и надобно сказать, редко гипотеза подтверждается фактами во всех своих подробностях, так, чтобы не измениться при переходе в достоверную фактическую истину. Довольно уже и того, если она близка к истине.

За недостатком прямых сведений о нравственной жизни Гоголя мы прежде всего постараемся отгадать, с какими влияниями мог он встречаться в тех обществах, среди которых жил.

Мы не будем много говорить о жизни Гоголя до самого переселения в Петербург. Он скоро вышел из-под влияний, которыми окружен был в домашнем быту и потом в школе. Переехав в Петербург, он с самого начала, как человек совершенно темный, не нашел близких, знакомых ни в ком, кроме нескольких бывших сотоварищей по школе и знакомой с ними вообще молодежи, бедной и безвестной. Этот кружок юношей, оживленных веселостью среди житейских недостатков, живших нараспашку, был, без сомнения, наилучшим из всех тех кружков, к которым впоследствии примыкал Гоголь. Но кроме веселости, соединенной с молодостью, едва ли мог найти что-нибудь Гоголь между этими людьми. [То было самое жалкое и пустое время для молодого поколения, особенно в Петербурге.]

За десять лет перед тем, десятью годами позже того, в петербургской молодежи было одушевление так называемыми возвышенными идеями. Около 1830 года ничего такого не оказывалось. Молодежь восхищалась Пушкиным, да и то без прежнего энтузиазма; кроме восхищения Пушкиным, едва ли можно было найти в ней какие-нибудь стремления, переходившие за границу молодых развлечений. В Москве молодежь с жадностью читала «Телеграф», в Петербурге вместо «Телеграфа» были «Сын отечества» и «Отечественные записки» Свиньина. Было время, когда и «Сын отечества» имел в себе живую струю, но это время кончилось задолго до 1829 года, и «Сын отечества» был пуст и бездушен. «Отечественные записки» Свиньина с самого начала до самого конца были бездушны. Таково было чтение, более или менее удовлетворявшее тогдашнюю петербургскую молодежь. Нельзя было услышать в кругу ее ни одного из тех громких слов, над которыми так легко смеяться, но без увлечения которыми бедно и пусто сердце юноши. Конечно, и тогдашняя молодежь не была бы враждебна к заоблачным мыслям о судьбах человечества, о мировых вопросах, о благе России и т. п., если б что-нибудь услышала об этих идеях. Но дело в том, что неоткуда и не от кого было ей слышать о подобных предметах. Она знала только, что Пушкин прежде писал превосходные поэмы вроде «Кавказского пленника», а теперь пишет поэмы вроде «Графа Нулина», которым нельзя так восхищаться, но что, впрочем, тот, кто не восхищается и теперь Пушкиным, есть поезренный зоил. Она думала также, что Языков, Баратынский, Дельвиг и т. д. и т. д. пишут

стихи ничуть не хуже Пушкина, но знала также, что они не должны быть считаемы такими великими поэтами, как он, хотя и они также великие поэты. Что хорошего в стихах Пушкина, кроме звучности и легкости, этого никто в Петербурге и не знал около 1830 года; прежде находили в нем какой-то романтизм, который во времена критики Марлинского объяснялся как что-то живое; но к 1830 году в Петербурге забыли даже о критике Марлинского, и романтизм казался чуть ли не просто причудливостью. Если таковы были литературные понятия тогдашней петербургской молодежи, легко себе вообразить, каково было ее отношение к другим живым идеям: она, бедная, и не подозревала их существования.

Скоро Гоголь сделался литератором, и случайность, которая до сих пор называется необыкновенно счастливой и благотворной для развития творческих сил Гоголя, ввела его в кружок, состоявший из избраннейших писателей тогдашнего Петербурга. Первым был в этом кружке человек с талантом действительно великим, с умом действительно очень быстрым, с характером действительно очень благородным в частной жизни. Пушкин ободрял молодого писателя и внушал ему, каким путем надобно идти к поэтической славе. Но каков мог быть характер этих внушений? Известен образ мыслей, вполне развившийся в Пушкине, когда прежние его руководители сменились новыми друзьями и прежняя неприятная обстановка заменилась благосклонностью со стороны людей, третиовавших Пушкина некогда, как дерзкого мальчишку. До конца жизни Пушкин оставался благородным человеком в частной жизни: человеком современных убеждений он никогда не был; прежде, под влияниями, о которых вспоминает в *Арионе*, — казался, а теперь даже и не казался. Он мог говорить об искусстве с художественной стороны, ссылаясь на глубокомысленного Катенина; мог прочесть молодому Гоголю прекрасное стихотворение «Поэт и чернь» с знаменитыми стихами:

Не для житейского волненья,  
Не для корысти, не для битв и т. д.

мог сказать Гоголю, что Полевой — пустой и вздорный крикун; мог похвалить непритворную веселость «Вечеров на хуторе». Все это, пожалуй, и хорошо, но всего этого мало; а по правде говоря, не все это и хорошо.

Если мы предположим, что в общество, занятое исключительно рассуждениями об артистических красотах, вошел человек молодой, до того времени не имевший случая составить себе твердый и систематический образ мыслей, человек, не получивший хорошего образования, должны ли мы будем удивляться, когда он не приобретет здравых понятий о метафизических вопросах и не будет приготовлен к выбору между различными взглядами на государственные дела?

Привычки, утвердившиеся в обществе, имеют чрезвычайную силу над действиями почти каждого из нас. У нас еще очень сильно то мелкое честолюбие, которое мешает человеку находить удовольствие в среде людей менее высокого ранга, как скоро открывается ему доступ в кружок, принадлежащий к более высокому классу общества. Гоголь был похож почти на каждого из нас, когда перестал находить удовольствие в обществе своих прежних молодых друзей, вошедши в кружок Пушкина. Пушкин и его друзья с таким добродушием заботились о Гоголе, что он был бы человеком неблагодарным, если бы не привязался к ним, как к людям. «Но можно иметь расположение к людям и не поддаваться их образу мыслей». Конечно, но только тогда, когда я сам уже имею твердые и приведенные в систему убеждения, иначе откуда же я возьму основание отвергать мысли, которые внушаются мне целым обществом людей, пользующихся высоким уважением в целой публике, — людей, из которых каждый гораздо образованнее меня? Очень естественно, что если я, человек малообразованный, нахожу этих людей честными и благородными, то мало-помалу привыкну я и убеждения их считать благородными и справедливыми.

Нет, кажется, сомнения, что до того времени, когда начало в Гоголе развиваться так называемое аскетическое направление, он не имел случая приобрести ни твердых убеждений, ни определенного образа мыслей. Он был похож на большинство полуобразованных людей, встречаемых нами в обществе. Об отдельных случаях, о фактах, попадающихся им на глаза, судят они так, как велит им инстинкт их природы. Так и Гоголь, от природы имевший расположение к более серьезному взгляду на факты, нежели другие писатели тогдашнего времени, написал «Ревизора», повинувшись единственно инстинктивному внушению своей природы: его поражало безобразие фактов, и он выражал свое негодование против них; о том, из каких источников возникают эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, в которой встречаются эти факты, и другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной жизни, он не размышлял много. Например, конечно, редко случалось ему думать о том, есть ли какая-нибудь связь между взяточничеством и невежеством, есть ли какая-нибудь связь между невежеством и организацией различных гражданских отношений. Когда ему представлялся случай взяточничества, в его уме возбуждалось только понятие о взяточничестве и больше ничего; ему не приходило в голову понятия [произвол], бесправность, [централизация] и т. п. Изображая своего городничего, он, конечно, и не воображал думать о том, находятся ли в каком-нибудь другом государстве чиновники, круг власти которых соответствует кругу власти городничего и контроль над которыми состоит в таких же формах, как контроль над городничим. Когда

он писал заглавие своей комедии «Ревизор», ему, верно, и в голову не приходило подумать о том, есть ли в других странах привычка посылать ревизоров; тем менее мог он думать о том, из каких форм [общественного устройства] вытекает потребность [нашего государства] посылать в провинции ревизоров. Мы смело предполагаем, что ни о чем подобном он и не думал, потому что ничего подобного не мог он и слышать в том обществе, которое так равнодушно и благородно приютило его, а еще менее мог слышать прежде, нежели познакомился с Пушкиным. Теперь, например, Щедрин вовсе не так инстинктивно смотрит на взяточничество — прочтите его рассказы «Неумелые» и «Озорники», и вы убедитесь, что он очень хорошо понимает, откуда возникает взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено. У Гоголя вы не найдете ничего подобного мыслям, проникающим эти рассказы. Он видит только частный факт, справедливо негодует на него, и тем кончается дело. Связь этого отдельного факта со всею обстановкою нашей жизни вовсе не обращает на себя его внимания.

Виноват ли он в этой тесноте своего горизонта? Мы не вздумаем оправдывать его избитою фразою, что он, дескать, был художник, а не мыслитель: недалеко уйдет тот художник, который не получил от природы ума, достаточного для того, чтобы сделаться и мыслителем. На одном таланте в наше время не далеко уедешь; а деятельность Гоголя была, кажется, довольно блистательна и, вероятно, было у него хотя столько ума, сколько найдется у каждого из нас, так прекрасно рассуждающих о вещах, на которых запнулся Гоголь. Дело в том, что мы с вами, читатель, воспитались в обществе гораздо более развитом, нежели Гоголь. Вспомните, было ли в вашей жизни время, когда не знакомо было вам, например, хотя бы слово «принцип»? А Гоголь, в то время, когда писал «Ревизора», по всей вероятности, и не слышал этого слова, хотя был знаком уже несколько лет и с Пушкиным и со многими другими знаменитыми людьми тогдашнего времени. Или другой пример: вероятно, с незапамятных лет, вы, читатель, слышали, что префект во Франции не имеет никакого участия в судебной власти, а имеет только административную; а Гоголь, когда писал «Ревизора», очень может быть и не слышал о существовании французских префектов, а если и слышал, то, вероятно, предполагал, что круг власти префекта тот же самый, как круг власти губернатора; а не подлежит никакому сомнению то, что он решительно не знал о так называемой теории разделения судебной власти от административной. Слышали ли вы о трудолюбивом и почтенном нашем историке Ертове? Он написал Всеобщую историю во множестве томов, руководствуясь исключительно русскими источниками<sup>6</sup>. Факты изложены у него точно так же, как и у всякого другого историка.

И у него римляне разоряют Карфаген, а не карфагеняне Рим, и у него трогательными красками описан героический патриотизм карфагенян во время осады. И все это очень подробно и верно. Но есть у него целые периоды, оставшиеся как будто бы пробелом — что ж делать, он не виноват; не нашлось для этих периодов материалов в русских книгах. Но интереснее всего его рассуждения о причинах и последствиях событий; мало он говорит об этом, зато чрезвычайно оригинально. Тут вы у него найдете такие соображения, от которых не поздоровилось бы ни Маколею, ни Шлоссеру: путаница невообразимая. А между тем, как по всему видно, сам по себе Ертв был ничуть не глупее многих французских или немецких историков: но что ж делать, когда у него под руками не было сносных мыслей о причинах и последствиях исторических событий и когда начитался он в единственных доступных ему книгах такого вздора, которого не в состоянии был бы распутать и сам Нибур.

«Но каким же образом Гоголь, при своем гениальном уме, мог останавливаться на отдельных фактах, не возводя их к общему устройству жизни? Каким образом мог он удовлетвориться вздорными и поверхностными объяснениями, какие мимоходом удавалось ему слышать? Наконец, каким образом не сошелся он с людьми, серьезность взгляда которых, по видимому, более гармонировала с его собственной натурою?»

На последний вопрос было бы очень затруднительно отвечать, если бы во время своей молодости Гоголь мог знать каких-нибудь людей, имевших образ мыслей, более соответствовавший инстинктивному направлению его натуры, нежели взгляды, господствовавшие в пушкинском кружке; но в том и дело, что около 1827—1834 годов (когда Гоголю было 18—25 лет) никто и не слышал в Петербурге о существовании таких людей, да, вероятно, их и не существовало. В Москве был, правда, Полевой; но Полевой тогда находился в разладе с Пушкиным, и надобно по всему заключать, что в кругу Пушкина считался он человеком очень дурным и по своим личным качествам и по образу мыслей, так что Гоголь с самого начала проникся нерасположением к нему; правда, был тогда в Москве Надеждин, но Надеждин выступил злым критиком Пушкина и долго внушал негодование всему пушкинскому кружку. Если бы Полевой и Надеждин жили в одном городе с юношею Гоголем, быть может, в личных сношениях он научился бы ценить их личности и научился бы сочувствовать их понятиям. Но он знал их в то время только по статьям, которые каждый день приучался считать нелепыми и отвратительными.

Через много лет, — в те годы, когда уже готов был первый том «Мертвых душ» (1840—1841), сделались известны массе публики, — вероятно, только теперь сделались известны и Гоголю, — люди другого направления: но в то время Гоголю было уже тридцать лет; в то время он был окружен ореолом собствен-

ного величия, был уже великим учителем русской публики, — ему поздно было учиться у людей, несколько младших его по летам, стоявших в тысячу раз ниже его и по общественному положению и по литературному авторитету. Если б даже Гоголь не примыкал к пушкинскому кружку, он не стал бы заботиться о сближении с ними; а для человека, принадлежавшего к пушкинскому кружку, это было решительно невозможно.

Но, главное, с 1836 года почти постоянно Гоголь жил за границею и, конечно, мог только продолжать сношения с теми людьми в России, с которыми был уже знаком прежде.

«Как он мог, при сильном уме, останавливаться на частных явлениях, не отыскивая их связи с общею системою жизни? Как мог довольствоваться объяснениями, ходившими в кругу, среди которого он жил в Петербурге?» Но вспомним, что когда Гоголь переселился за границу (1836), ему не было еще двадцати семи лет, а жил он в этом кругу с 20-летнего возраста. Удивительно ли, что как ни гениален и проныцателен юноша, вступающий в круг знаменитых людей, далеко превосходящих его образованностью, он на некоторое время остается при том мнении, что эти люди, признанные всем образованным обществом своей страны за передовых людей века, действительно передовые люди и что образ их мыслей соответствует требованиям современности? Даже люди, получившие философское образование, не в 20—25 лет делают самостоятельными мыслителями; даже люди, наиболее расположенные от природы пренебрегать частными фактами из любви к общим принципам, не в 20—25 лет самобытно возводят к общим принципам впечатления, производимые на них отдельными фактами. Юность — время жизни, а не теорий; потребность теории чувствуется уже позднее, когда прошло первое, поглощающее всю энергию мысли увлечение свежими ощущениями жизни.

Но вот Гоголь за границею; вот он уже близок к тридцатому году жизни, из молодого человека он становится мужем, чувствует потребность не только жить и чувствовать, но и мыслить: ему нужна уже теория, нужны общие основания, чтобы привести в систематический взгляд на жизнь те ощущения, которые влагаются в него инстинктивными внушениями природы и отдельными фактами. Каково-то будет его сознательное мирозерцание?

Мы говорили, что эту часть нашей статьи читатель может считать, пожалуй, гипотезою; но эта гипотеза очень точно сходится с теми свидетельствами, которые оставил о себе Гоголь в «Авторской исповеди». Мы приведем из этой статьи одно место:

«Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал

целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения...» (изд. П. А. Кулиша, том III стр. 500).

Гоголь тут воображает, что рассказывает о себе что-то необыкновенное, неправдоподобное; а на самом деле комические писатели большею частью были люди с грустным настроением духа; в пример укажем на Мольера. Они прибегали к шутке, к насмешке, чтобы забыться, заглушить тоску, как другие заглушают ее житейским разгулом. Чему приписать свою тоску, Гоголь не знает; болезнь сам он считает объяснением недостаточным. Не ясно ли уж из одного этого, что он не был похож на людей нынешнего времени, очень хорошо понимающих причину своей грусти? Он, создавший Чичикова, Сквозника-Дмухановского и Акакия Акакиевича, не знает, что грусть на душу благородного человека навевается зрелищем Чичиковых и Акакиев Акакиевичей! Это странно для нас, привыкших думать о связи отдельных фактов с общою обстановкою нашей жизни; но Гоголь не подозревал этой связи.

«...выдумывать целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, для чего это и кому от этого произойдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала».

Некоторые вздумали говорить, что Гоголь сам не понимал смысла своих произведений, — это нелепость, слишком очевидная; но то справедливо, что, негодуя на взяточничество и самоуправство провинциальных чиновников в своем «Ревизоре», Гоголь не предвидел, куда поведет это негодование: ему казалось, что все дело ограничивается желанием уничтожить взяточничество: связь этого явления с другими явлениями не была ему ясна. Нельзя не верить ему, когда он говорит, что испугался, увидев, какие далекие следствия выводятся из его нападений на плутни провинциальных чиновников.

Стройные и сознательные убеждения развиваются в человеке не иначе, как или под влиянием общества, или при помощи литературы. Кто лишен этих вспомогательных средств, тот обыкновенно на всю жизнь остается при отрывочных мнениях об отдельных фактах, не чувствуя потребности придать им сознательное единство. Такие люди до сих пор составляют большинство у нас даже между теми, которые получили так называемое основательное образование. Об отдельных случаях они судят более или менее справедливо, но вы бываете поражены бессвязностию и внутреннею разладицею их суждений, как скоро речь пойдет о каких-нибудь общих и обширных вопросах. Двадцать лет тому назад представлялось еще гораздо меньше средств и внешних побуждений выйти из этого состояния. Литература в то время представляла гораздо меньше, нежели ныне, для развития стройного



образа мыслей; мнения лучших писателей оказывались вообще очень шаткими, как скоро дело доходило до общих вопросов, о которых говорили вообще наудачу. Читая, наприм., прозаические статьи Пушкина, вы удивляетесь тому, как один и тот же человек мог на двух, трех страницах соединить так много разноречащих мыслей. В обществе тогда было очень мало наклонностей к размышлению: это доказывается уже чрезвычайным успехом «Библиотеки для чтения», не имевшей никакого образа мыслей [между тем, как в настоящее время журнал, не имеющий образа мыслей, был бы никому не нужен]. Очень извинительно было бы Гоголю, если бы он остался навсегда на той ступени умственных потребностей, на какой оставались во всю жизнь почти все писатели, бывшие у нас двадцать лет назад. Но он едва пережил первую пору молодости, как уже почувствовал непреодолимую потребность приобрести определенный взгляд на человеческую жизнь, приобрести прочные убеждения, не удовлетворяясь отрывочными впечатлениями и легкими бессвязными мнениями, которыми довольствовались другие. Это свидетельствует о высоте его натуры. Но одного инстинкта натуры мало для того, чтобы пойти верным путем к справедливому решению глубочайших и запутаннейших вопросов науки; для этого нужно также или иметь научное приготовление к тому, или надежных руководителей. Припомним же теперь, в каком положении находился Гоголь, когда был застигнут потребностью создать себе прочный образ мыслей.

В обществе, среди которого он жил, пока оставался в России, он не находил заботы размышлять о тех задачах, которые теперь занимали его. О них говорилось так мало, что он не имел даже случая узнать, к каким книгам следует ему обратиться при исследовании вопросов современной жизни; он не знал даже того, что как бы ни были достойны уважения люди, жившие за полторы тысячи лет до нас, они не могут быть руководителями нашими, потому что потребности общества в их время были совершенно не таковы, как ныне, их цивилизация была вовсе не похожа на нашу. Общество оставило его под влиянием уроков и рекомендаций, какие слышал он в детстве, потому что это общество никогда не занималось теми высокими нравственными вопросами, о которых слышал некогда ребенок от своей матери. И вот теперь, когда двадцатисемилетний человек вздумал искать в книгах решения задач, его мучивших, он не знал, к каким книгам обратиться ему, кроме тех, какие некогда советовали ему читать в родительском доме. Положение странное, неправдоподобное, но оно действительно было так. Много лет спустя, когда случилось Гоголю, по поводу своей «Переписки с друзьями», вступить в спор с человеком иного образа мыслей<sup>7</sup>, он наивно ссылался на авторитеты, завещанные ему детством, никак не предполагая, чтобы его противник, или кто бы то ни был в мире, мог иначе думать о них или идти к истине не при исключительном их руководстве. Еще

позднее, когда он писал свою «Авторскую исповедь», он столь же наивно оправдывался от обвинений в заблуждениях опять-таки ссылками на эти авторитеты, и воображал, что несомненно убедит всех в истинности своего пути, как скоро объяснит, какими авторитетами он руководился: ясно видишь, когда читаешь «Авторскую исповедь», что Гоголю не приходит и в голову мысль о возможности такого возражения: «Ты читал не те книги, какие нужно тебе читать». Он воображает, что все будут согласны с ним, когда он утверждает, что нет иной истины, кроме истины, заключающейся в книгах, завещанных ему детскими воспоминаниями.

В настоящее время такая умственная беспомощность едва ли была бы возможна; но двадцать лет тому назад многое было иначе. Теперь наша литература, какова бы она ни была, проникнута мыслию. Около 1835—1837 годов этого не было; теперь в обществе вы очень часто слышите разговоры «о предметах, вызывающих на размышление», тогда это случалось несравненно реже. Но кому покажется слишком невероятной наивность Гоголя, тот может присмотреться к своим знакомым и тогда поверить ей: как часто и теперь вы встречаете людей, которые и русские журналы и даже иностранные газеты читают, а между тем в сомнительных случаях обращаются за справкою к своим школьным урокам! Разница между ними и Гоголем не слишком значительна.

Если бы Гоголь жил в России, вероятно, он встречал бы людей, противоречащих ему во мнении о методе, им избранной, хотя и тут едва ли могло бы влияние этих людей устоять против громких имен, одобрявших путь, на который стал он. Но он жил за границею в обществе трех, четырех людей, имевших одинакие с ним понятия об авторитетах, которыми вздумал он руководствоваться. Как видно из его писем, ближайшими его друзьями были Жуковский и Языков. Тон писем показывает, что эти два знаменитые писателя могли только усиливать наклонность, развивавшуюся в Гоголе. Тот и другой далеко превосходили Гоголя своею образованностию; тот и другой в частной жизни были людьми, внушавшими к себе уважение и доверие. Кроме того, Языков имел много случаев оказывать Гоголю важные услуги; еще больше добра сделал Гоголю Жуковский; человек всегда бывает расположен с особенною симпатиею принимать мнения людей, которых считает хорошими людьми в частной жизни.

Из друзей, оставшихся в России, довереннейшим лицом Гоголя был г. Шевырев. Сочинения этого ученого доказывают, что он должен был одобрять наклонности, которые овладевали умственной жизнью Гоголя.

Этим знакомством надобно приписывать сильное участие в образовании у Гоголя того взгляда на жизнь, который выразился «Перепискою с друзьями». По всем соображениям, особенно сильно должно было быть в этом случае влияние Жуковского.

Направление, принятое мыслями Гоголя, давно охарактеризовано словом «аскетизм». В благородной душе склонность к аскетизму развивается скорее всего при зрелище праздной роскоши. Именно в этом случае получает справедливый смысл проповедь о воздержании, о борьбе с прихотями и страстями. Гоголь за границей был именно в таком положении. Еще в Петербурге, благодаря посредничеству литературных друзей, началось его сближение с людьми высшего общества. За границей он почти исключительно встречал русских путешественников из высшего круга. Говорить им о необходимости отречения от ветхого человека значило говорить о сочувствии к бедным и страждущим, и если мы будем помнить, к какому классу принадлежали люди, которым старался внушить Гоголь презрение земных благ, то многие из его речей приобретут смысл более разумный, нежели как могло бы показаться, если бы мы забыли, что речи эти порождены были сношениями с счастливыми земли. Проповедывать умеренность бедняку, и без того уже лишенному всяких излишеств — дело бессмысленное, внушаемое холодным сердцем. Но говорить о смирении и сострадании людям знатным и сильным чувствует склонность каждый, желающий блага обществу.

Гоголя обвиняли за то, что он в последние годы жизни сближался почти исключительно с людьми знатными и богатыми. Почти каждому из нас легче упрекать в этом других, нежели оправдать себя. Нелепою клеветой было бы думать, что в характере русского человека от природы лежит черта, столько раз осмеянная Гоголем. Но, описав Петрушку и Селифана, Гоголь недаром замечает, что «весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений». Действительно, эта страсть до того распространена в обществе, что обвинять за нее того или другого отдельного человека почти так же несправедливо, как негодовать на даму, прекрасную во всех отношениях, за то, что она носила корсет. Быть может, носить корсеты — вредная привычка; быть может, иметь страсть к знатным знакомствам — дурная привычка. Но как осуждать отдельного человека за то, в чем виновато все общество?

Была в характере Гоголя другая черта, имеющая довольно тесное отношение к склонности к знатному кругу и также несообразная с идеалом человеческого характера. Те, которые говорили о Гоголе дурно, называли его человеком подбострастным, искательным. Беспристрастный судья едва ли согласится на такой резкий отзыв. Но то справедливо, что заметна в Гоголе какая-то гибкость, какое-то излишнее желание избегать противоречий, говорить с каждым в его тоне, вообще приноровляться

к людям более, нежели следовало бы. Но и эта слабость принадлежит не отдельному человеку, а всему обществу. Избитая латинская поговорка *Saeculi vitia, non hominis*, — «пороки эпохи, а не человека», — эта поговорка может быть очень полезна не только для оправдания личностей, но, что гораздо важнее, для исправления нравов общества. Совершенно напрасно подражать тому, который, увидев своего знакомого, имеющего часть любезности и оборотливости Павла Ивановича, «толкнет (по выражению Гоголя) под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» и потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное званию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков, Чичиков, Чичиков!» Вместо этого напрасного глумления, Гоголь предлагает каждому из нас посмотреть на себя с запросом: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Это дело, конечно, очень хорошее, но опять едва ли не бесполезное: пока не изменятся понятия и привычки общества, едва ли удастся кому-нибудь из нас, при всех возможных анализах собственной души, изменить и собственные привычки: они поддерживаются требованиями общества, обстановкою нашей жизни; отказаться от дурных привычек, господствующих в обществе, точно так же трудно, как и нарушать хорошие привычки, утвердившиеся в обществе. Никто из нас не решится отравить своего неприятеля, как отравляли в старину; едва ли многие из нас в состоянии много превзойти Гоголя стоицизмом в обращении с людьми, пока общество не будет требовать благородной прямоты в обращении. Итак, лучше всего подумать о том, какими обстоятельствами и отношениями порождены и поддерживаются в нашем обществе пороки, которыми мы недовольны, и каким образом можно было бы устранить эти обстоятельства и улучшить эти отношения.

Как развитием всех хороших своих качеств человек бывает обязан обществу, точно так и развитием всех своих дурных качеств. На удел человека достается только наслаждаться или мучиться тем, что дает ему общество. С этой точки мы должны смотреть и на Гоголя. Напрасно было бы отрицать его недостатки: они слишком очевидны: но они были только отражением русского общества. Лично ему принадлежит только мучительное недовольство собой и своим характером, недовольство, в искренности которого невозможно сомневаться, перечитав его «Авторскую исповедь» и письма; это мучение, ускорившее его кончину, свидетельствует, что по натуре своей он был расположен к чему-то гораздо лучшему, нежели то, чем сделало его наше общество. Лично ему принадлежит также чрезвычайное энергическое желание пособить общественным недостаткам и своим собственным слабостям. Исполнению этого дела он посвятил всю свою жизнь. Не его вина в том, что он схватился за ложные средства: обще-

ство не дало ему возможности узнать во-время о существовании других средств.

Мало мы знаем о наших гениальных людях прошлых поколений, но вообще все, что мы знаем о них, наполняет нас каким-то неудовольствием. Ни одному из них не доставалось счастья, так часто замечаемого в истории людей других стран: соединить безукоризненность частного характера с великими заслугами обществу, и те недостатки, которые прискорбнее всего в характере Гоголя, принадлежали почти всем другим гениальным людям прошлых поколений. Примером этого пусть служит Суворов: в нем также слишком много было гибкости характера. Мы не хотим приводить других примеров, но их можно набрать десятки. Только в самое последнее время стали являться у нас между людьми, замечательными по уму, такие, которые не делают уступок в своих словах, которые говорят всегда действительно то, что думают, без всяких умолчаний и хитрых оговорок. До последнего времени в устах умного человека «да» значило у нас не то, что значит во всей остальной Европе. «Я в душе согласен с вами», это слово значило только: «Я не считаю приличным, или удобным, противоречить вам».

Общность этого недостатка прямоты доказывает, что были какие-то общие обстоятельства, подчинявшие своему влиянию все личности, за очень немногими исключениями.

Но мы далеко уклонились от речи об аскетизме, которому предался Гоголь. Людям того поколения, которое приобрело господство в нашей литературе после отъезда Гоголя за границу, аскетизм этот казался так несообразен с их понятием о следствиях, естественно вытекающих из прежних сочинений Гоголя, что вообще распространилась мысль, будто Гоголь «Перепиской с друзьями» отказывается от своей прежней деятельности и даже должен осуждать тот огонь негодования против общественных пороков, который давал жизнь «Ревизору» и первому тому «Мертвых душ». Многие неловкие выражения о прежних своих сочинениях, со стороны самого Гоголя, подтверждали эту догадку. Но чтение писем, теперь изданных, заставляет нас согласиться с уверениями Гоголя, что новое направление не помешало ему сохранить свои прежние мнения о тех предметах, которых касался он в «Ревизоре» и первом томе «Мертвых душ». Сущность перемены, происшедшей с Гоголем, состояла в том, что прежде у него не было определенных общих убеждений, а были только частные мнения об отдельных явлениях; теперь он построил себе систему общих убеждений. При этом деле человек обыкновенно сохраняет те частные мнения, какие имел прежде, и если они логически не подходят под общий принцип, им вновь принимаемый, он скорее обманет себя, допустит логическую непоследовательность, допустит очевидное противоречие, нежели найдет нужным отказаться от прежних мнений. С так называемыми нравственными

обращениями почти такая же история, что с променом одного языка на другой. Эльзасский немец вздумал быть французом и действительно употребляет французские слова, но выговор остался у него прежний, весь склад речи прежний, и по одной фразе, по одному слову вы тотчас узнаете, что перед вами все-таки немец, а не француз. Идолопоклонники-китайцы вздумали быть буддистами, и по общим фразам их кажется, будто они стали монотеистами; но они сохранили всех своих идолов и все свои прежние понятия.

С того времени, как Гоголем овладело аскетическое направление, письма его наполнены рассуждениями о таких предметах, которыми прежде он мало занимался. Но если вы, преодолев скуку, наводимую однообразием этих писем, всмотритесь в них ближе и точнее, сравните их с письмами прежних годов, вы увидите, что во втором периоде сохранилось, кроме молодой веселости, все то, что было в письмах первого периода, и наоборот, в письмах первого периода вы найдете уже те черты, которые, повидимому, должны были бы принадлежать второму периоду. Это убеждение нам самим долго казалось сомнительно; предполагая, что оно может показаться сомнительно и читателю, мы считаем нужным подтвердить его выписками довольно многочисленными. Если читатель найдет их излишними, тем лучше: значит, он уже убежден, что Гоголь, если и заблуждался, то не изменял себе, и что если мы можем жалеть о его судьбе, то не имеем права не уважать его.

Одною из самых странных особенностей, которыми поразила «Переписка с друзьями» и предисловие ко второму изданию первого тома «Мертвых душ», была просьба, с которою обращался Гоголь к своим читателям: присылать ему замечания о русских нравах. Это желание казалось так странно, что многие сомневались в его искренности. Но после издания писем она не подлежит сомнению: всех своих друзей Гоголь заклинает доставлять ему замечания о русской жизни. Иногда предмет требований странен до невероятности; так, например, одну даму, жившую в провинции, он просит составить для него записку о раскольниках той губернии, совершенно забывая, что дама эта совершенно не имеет понятия о деле, которое на нее возлагается. И мы ошиблись бы, если бы приписали только последнему периоду жизни Гоголя требование материалов для своих сочинений. Эта привычка была у него с самого начала и только развилась впоследствии. Вот, например, отрывок из письма к матери, посланного еще в 1829 г., при самом начале литературной карьеры Гоголя, когда он готовлял «Вечера на хуторе»:

«1829 г. апреля 30.

Теперь, почтеннейшая маменька, мой добрый ангел-хранитель, теперь вас прошу в свою очередь сделать для меня величайшее из одолжений. Вы имеете тонкий наблюдательный ум, вы много знаете обычаи и нравы

малороссиян наших, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно. В следующем письме я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов, с поименованием, как это все называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян; равным образом названия платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками. Вторая статья: название точное и верное платья, носимого до времен гетманских. Вы помните, раз мы видели в нашей церкви одну девку, одетую таким образом. Об этом можно будет расспросить старожилов: я думаю, Анна Матвеевна или Агафия Матвеевна много знают кое-что из давних годов. Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей. Об этом можно расспросить Демьяна (кажется, так его зовут, прозвания не помню), которого мы видели учредителем свадеб и который знал, повидимому, всевозможные поверья и обычаи. Еще несколько слов о колядках, о Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами. Множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и пр. и пр. и пр. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно. На этот случай и чтобы вам не было тягостно, великодушная, добрая моя маменька, советую иметь корреспондентов в разных местах нашего повета. Александра Федоровна, которой сметливости и тонким замечаниям я всегда удивлялся, может и в этом случае оказать вам очень большую помощь». (Том V, стр. 81.)

В этом отрывке тот же патетический тон, как и в просьбах о «Мертвых душах», будто бы дело идет о предмете первой необходимости, будто без присылки замечаний от матери Гоголь не в состоянии описывать малорусскую жизнь. Та же самая странность и в том, что сведения, требуемые Гоголем, кажутся иногда излишними не только человеку, проведшему все детство в Малороссии, но прожившему хотя неделю в этой стране. Например, неужели Гоголь мог не знать «полного наряда сельского дьячка»? Наконец та же самая обширность обязанностей, налагаемых Гоголем: он просит мать набрать особенных корреспондентов по разным местам для доставления ему сведений. Разница только в одном: пока Гоголь думает, что достоинство его сочинений важно только для людей близких к нему, он обращается с просьбою только к людям близким; потом он просит без различия всех своих читателей, — но зато ведь он уже полагает, что достоинство его сочинений важно для каждого читателя.

Странною чертою в «Переписке с друзьями» казалось уверение, что нужно только укрепиться в вере, и тогда легко будет переносить самые прискорбные утраты. Это было принято даже за лицемерие, по пословице «чужую беду по пальцам разведу». Но вот что пишет Гоголь на семнадцатом году жизни, получив известие о смерти отца:

«1825 г. апреля 23 дня.

Не беспокойтесь, дражайшая маменька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен ужасно сим известием; однако ж не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но бог удержал меня от сего; и к вечеру приметил я в себе

только печаль, но уже не порывную, которая наконец превратилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко всевышнему». (Том V, стр. 19.)

Затем Гоголь продолжает рассуждать, что «благословляет священную веру, в которой находит утешение своей горести», так что теперь он спокоен. Неужели в самом деле не был опечален шестнадцатилетний мальчик смертью отца? Странна казалась в «Переписке» манера утверждать, что самые тяжелые потери надобно считать за радостные события, потому что ими очищается душа и доказывается благоволение промысла. Но что это не было притворством, а действительным убеждением Гоголя, видим из письма к матери, по случаю жестокой горести, поразившей одного из ближайших друзей Гоголя:

«1838 г. мая 16.

Я получил ваше письмо и уже хотел было отвечать на него, как вдруг мне принесли еще одно ваше письмо, в котором вы извещаете о смерти Татьяны Ивановны. Мне было тоже прискорбно об этом слышать. Мне еще более было жаль, что мой добрый Данилевский не со мною в это время, чтобы я мог сколько-нибудь облегчить участием его потерю и утешить его в ней. Я, однако ж, написал ему об этом в Париж, где он теперь находится и где, может быть, уже получил это печальное известие без меня. Частые потери, наконец, так приучают сердце и ум к мысли о смерти, что она, наконец, не имеет для нас ничего ужасного. Истинный христианин радуется смерти близкого своему сердцу. Он, правда, разлучается с ним, он не видит уже его, но он утешен мыслию, что друг его уже вкушает блаженство, уже бросил все горести, уже ничто не смущает его; и в этом-то состоит глубокое самоотвержение, какое может только быть и какое может только внушить одна христианская религия». (Том V, стр. 325.)

В письме к матери о постороннем человеке Гоголю не было нужды надевать маску; поэтому можно верить искренности его мнения, когда он в письме к самому А. С. Данилевскому толкует, что «может быть, горесть, постигшая тебя, есть перелом, который высшие силы почли для тебя нужным, и эти исполненные сильной горести слезы были для оживления твоей души». А надобно заметить, что эти письма относятся к 1838 году, когда Гоголь еще не предавался аскетическому направлению.

Чертою лицемерной гордости, под маскою смирения, казались рассуждения Гоголя о том, что в каждом событии своей жизни видит он руку промысла; но вот отрывок из письма его к матери, оно нимало не уступит «Переписке с друзьями», хотя относится еще к 1829 г.:

«1829 г. июля 24.

Теперь, собираясь с силами писать к вам, не могу понять, отчего перо дрожит в руке моей; мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой места, и непонятная сила нудит и вместе отталкивает их излиться перед вами и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегающую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу всемогущего; но как ужасно это наказание. Безумный! я хотел было противиться этим вечно неутолкаемым желаниям души, которые один бог вдвинул в меня, претворив меня в жажду, ненасытимую бездейственной рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти



в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтоб я сам по нескольким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмыкаться в столице эдшей между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно. Пресмыкаться другое дело там, где каждая минута жизни не утрачивается даром, где каждая минута — богатый запас опытов и знаний; но изжить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проведенные в ничтожных занятиях, будут тяжким упрехом звучать душе, — это убийственно!

Несмотря на это все, я решился, в угодность вам больше, служить здесь во что бы то ни стало; но богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи и, что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции, легко получали то, чего я, с помощью своих покровителей, не мог достигнуть. Не явный ли был здесь надо мною промысл божий? Не явно ли он наказывал меня этими всеми неудачами, в намерении обратить на путь истинный? Что ж? я и тут упорствовал, ожидал целые месяцы, не получу ли чего. Наконец... какое ужасное наказание! Ядовитое и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах написать... Маменька, дражайшая маменька! я знаю, вы одни истинный друг мне. Поверите ли? и теперь, когда мысли мои уже не тем заняты, и теперь при напоминании, невыразимая тоска врывается в сердце. Одним вам я только могу сказать... Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я видел ее... нет, не назову ее... она слишком высока для всякого, не только для меня... Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатается в сердце; глаза, быстро пронизывающие душу; но их сияния жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из людей. О, если бы вы посмотрели на меня тогда!.. правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска, с возможными муками, кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была... Я по крайней мере не слышал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я... Взглянуть на нее еще раз — вот бывало одно единственное желание, возраставшее сильнее и слабее, с невыразимою едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разглядел я свое ужасное состояние. Все совершенно в мире было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу. В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое он послал лишить меня покоя, расстроить шаткосозданный мир мой, не была женщина. Если бы она была женщина, она бы всю силою своих очарований не могла произвести таких ужасных, невыразимых впечатлений... Но, ради бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока». (Том V, стр. 84—86.)

В этом отрывке тот же самый мистический тон, как и в письмах аскетического периода.

Высокомерным ханженством казались требования Гоголя, чтобы каждый непременно читал его «Переписку с друзьями» для душевной пользы своей, и предписания, как именно читать ее, и приказания передавать ее для чтения другим. Каковы бы ни были эти советы и требования, но Гоголь давал их от чистого сердца, по твердому убеждению в их великой пользе; это доказывается письмами к матери, из которых вот отрывок одного:

«1843 г. 1 октября.

Письма ваши и вместе с ними письма сестер моих я получил. Сказать поистине, все они вообще меня несколько изумили, изумили меня именно в следующем отношении: я не ожидал ничего более насчет моего письма, как только одного простого уведомления, что оно получено. Вместо того, получил я целые страницы объяснений и оправданий, точно как будто бы я обвинял кого-нибудь. Если кто ощущает желание оправдаться в чем-либо, пусть оправдывается перед своею совестью или перед духовником своим. А я не могу и не хочу быть обвинителем никого. Многие даже позабыли, что все до последнего слова в письме следует взять на свой счет, а не одно то, что более забирает за живое. Другим вообразилось, что я вследствие неудовольствия написал это письмо. На это скажу вам, что ни одно письмо не было к вам в духе такой душевной любви, как это письмо. Но оставим об этом всякие изъяснения. Исполните теперь мою просьбу, о которой вас буду просить: оставьте мое письмо, не читайте его, не заговаривайте о нем, даже между собою, до самого великого поста. Но зато дайте мне все слово во все продолжение первой недели великого поста (мне бы хотелось, чтобы вы говели на первой неделе) читать мое письмо, перечитывая всякий день по одному разу и входя в точный смысл его, который не может быть доступен с первого разу. Кто меня любит, тот должен все это исполнить. После этого времени, то есть после говения, если кому-нибудь придет душевное желание писать ко мне по поводу этого письма, тогда он может писать и объяснять все, что ни подскажет ему душа его.

«Теперь я должен еще вам сделать замечания насчет двух выражений в письме вашем. В одном вы говорите, что я теперь истинный христианин. Прежде всего — это неправда. Я от этого имени далее, чем кто-либо из вас, и все эти упреки, которые каждая нашла в письме моем, как направленные собственно на нее, все эти упреки, собрав вместе, можно сделать одному мне, и такое действие будет справедливо вполне. В другом месте вы говорите, что редкий брат сделал столько для сестер, как я. На это я вам скажу искренно: истинно полезного я не сделал ничего для моих сестер. Одно только я сделал истинно полезное дело, написавши это письмо. Но и тут не мой подвиг: без помощи иной я бы не мог этого сделать. К тому же это письмо, в истинном смысле своем, осталось не понято. Стало быть, я ничего не сделал. Но ни слова больше об этом предмете, как бы не зашевелился у кого-нибудь язык заговорить о нем. Только этими словами отвечайте на письмо это: *просьба насчет письма будет исполнена*, и ничего более. Предметов у вас, верно, найдется поговорить и кроме этого письма». (Том VI, стр. 27—28.)

Удивительны распоряжения о том, как читать письмо; не менее удивительно и чрезвычайно высокое мнение о необыкновенном благодеянии, которое он оказывает матери и сестрам этим письмом. Для родных своих Гоголь сделал, в самом деле, много: он воспитал своих сестер, он уступил им свое имя, мать хвалит его за это. «Нет, отвечает он, это все пустяки, а вот за письмо это вы действительно можете считать меня своим благодетелем, но я не горжусь тем: не сам собою, а по внушению высшей силы написал я это, да и не может человек сотворить такого великого дела без помощи высшей силы».

Много у Гоголя во втором периоде писем, производящих очень невыгодное впечатление; но из всех самое тяжелое чувство наводится теми, в которых он своей матери проповедует правила жизни хозяйственной и даже нравственной. Мы защищаем добрую славу великого писателя, но не будем молчать о фактах,

даже наиболее способных поколебать доверие к его сердцу. Вот отрывки из этих писем, перед которыми очень слабым свидетельством против Гоголя кажутся все остальные его слова и поступки:

«1847 г. января 25.

Пишу к вам вновь, по поводу ваших писем, перечитавши их снова. Сначала мне было очень неприятно, что письмо мое, пришедши не вместе с книгой, ввело вас в заблуждение и тревожное состояние духа. Теперь я вижу, что случилось это не без воли божией. Письмо мое нечаянным образом послужило пробой вашего состояния душевного и обнаружило предо мною, на какой степени любви и веры и вообще на какой степени христианских познаний и добродетелей находитесь вы все, тем более, что по письмам, писанным по приезду из Киева, мне уже было показалось, что сестры мои поняли, что такое христианство и чем оно необходимо в делах жизни. Я обманулся. Духовное распоряжение, которое я сделал во время тяжелой болезни, от которой меня бог своею милостию избавил, — распоряжение, которое делает в такие минуты всяк, — распоряжение, которое, по-настоящему, всяк христианин должен сделать заблаговременно, и без болезни, хотя бы надеялся на свои силы и совершенное здоровье, потому что не мы правим днями своими — человек сегодня жив, а завтра его нет, — это самое распоряжение сделало такое впечатление на вас всех, кроме одной Ольги, как бы я уже умер и меня нет на свете. Я изумился только тому, как могут упасть духом те, которые только молятся богу, а не живут в нем, как бог наказывает их помрачением рассудка; потому что так перетолковать строки письма моего может один тот, у которого в затмении рассудок». (Том VI, стр. 330—331.)

«1847 г. февраля 16.

Повторяю вам всем вновь, что, относительно денежных расходов, нужно более, чем когда-либо, наблюдать бережливость и благоразумие, чтобы уметь не только содержать самих себя, но еще прийти в возможность помогать другим, потому что теперь более, чем когда-либо прежде, нуждающихся. Если вам вообразилось, что вы уже распорядитесь очень умно и хозяйничаєте совершенно так, как следует истинно хорошим хозяевам, и достигли уже такой мудрости, что умеете чувствовать границу между излишним и необходимым и не издерживаете ни на что, как только на самое нужное, то знайте, что дух гордости овладел вами и сам сатана подсказывает вам такие речи, потому что и нанопытнейший хозяин и науменейший человек делает ошибки. Счастлив тот, кто видит свои ошибки и перебирает в мыслях все сделанные дела свои именно затем, чтобы отыскать в них ошибки: он достигнет совершенства и во всем успеет. Горе тому, кто самоуверен и не рассматривает прежних поступков, в убеждении, что они все умны: ему никогда не добыть разума; бог его оставит». (Том VI, стр. 342.)

«1847 г. февраля 16.

Пишу к вам так часто теперь потому, что мне улучилось иметь свободное время, и потому, что вижу надобность хоть сколько-нибудь вас укрепить в деле жизни. Я никогда не думал до сих пор, чтобы вы были так мало христианки. Я думал, что вы все-таки сколько-нибудь понимаете существо христианства. А вы, как видно, мастерицы только исполнять наружные обряды, не пропускать вечерни, поставить свечку да ударить лишний поклон в землю. А на практике и в деле, где нужно именно показать человеку, что он живет точно во Христе, вы, как говорится, на попятный двор. Вот почему я написал к вам сряду два длинных письма, нынешнее и предыдущее, еще не получивши ответа на прежние, чтобы мне не быть за вас в ответе перед богом. Но теперь, в продолжение целого года, вы не будете от меня получать писем, кроме разве изредка самых маленьких, с извещением, что, слава богу, жив, потому что у меня есть дело, которым следует заняться

и которое важнее нашей переписки. А потому советую вам почаще перечитывать мои прежние письма во все продолжение года так, как бы новые». (Том VI, стр. 344.)

При чтении таких писем трудно было бы удержаться от негодования, если бы самая неуместность и неприличность их не свидетельствовала о том, что они порождены совершенно особенным настроением духа: экстаз тут доходит до совершенного самоослепления; весь проникнутый идею о том, что «всяк человек есть ложь», нуждается в обличениях и укоризнах нравственных, Гоголь забывает для идеи, его ослепляющей, о естественных отношениях сына к матери, о том, что, как бы то ни было и что бы то ни было, не сыну быть обличителем матери... Состояние ужасное, нечеловеческое... Но в чем же заключается особенность, которую так тяжело действуют эти письма? В том ли, что сын оскорбляет мать? Нет, примеров тому так много видим мы на свете, что они не изумляют нас; если бы Гоголь только оскорблял мать, мы сказали бы, что он был дурной сын, и внимание наше не остановилось бы на этом грустном замечании: мало ли на свете дурных сыновей? Ужасно здесь то, что Гоголь вовсе не думает нарушать своих обязанностей относительно матери; напротив, он воображает, что исполняет их самым доблестным образом: видите ли, он воображает, что заботится о спасении души ее, что ведет ее к вратам царства небесного. Слышали ли вы когда-нибудь на рынке песню убогих слепцов о том сыне, который скрылся из отцовского дома, пришел назад одетый во вретиче и поселился, как незнаемый нищий, в конуре под порогом родительского дома, и каждый день слышал вздохи отца, стоны матери о погибшем возлюбленном сыне, и, укрепляясь духом, молчал, и только через много лет, в минуту смерти открылся им, что он сын их? Читали ль вы недавно в наших газетах рассказ о том, как одна мать зарезала двух своих детей, зарезала с любовью, с ласкою, чтобы сделать двух мучеников и самой спасти душу спасением двух душ от земного соблазна? В аскетических письмах Гоголя веет тот же самый дух ослепленного экстаза, — дух, побуждавший некогда сибирских раскольников сожигаться добровольно в домах своих, с восторженными гимнами о спасении, ими приобретаемом через муки смертные? Страшно именно это изуверство в письмах, отрывки из которых привели мы. Невозможно не удивляться силе души этих сожигавших себя изуверов, этой несчастной женщины, убийцы детей своих; но невозможно и не проклинать лжеучения, давшего такое противоестественное, такое пагубное направление энергии, которая могла бы совершить столько прекрасного и великого, если бы направлена была к разумным целям. Эти люди, сожигавшие себя, имели в себе все качества души, которыми прославляли себя и спасали отечество Муций Сцевола и Деций Мус или те страдальцы новой цивилизации.

которые погибали, прививая к себе чуму для испытания средств спасти людей от чумы, которые поражаемы бывали молнией, устраивая громоотводы. И не вздумайте говорить, что Гоголь только других учил страдать, не прилагая к себе своих изумерских учений; после описания его предсмертной болезни, напечатанной доктором, его лечившим \*, невозможно сомневаться в том, что он уморил себя. В одном человеке какие несообразные крайности! Человек [двинувший вперед свою нацию,] мучит себя и морит, как дикий изувер Брынских лесов! Да, [пока не] пришли годы, в которые человек, вместо инстинкта природы, должен принять своим руководителем разум, [он был вождем своего народа благодаря мощному и благородному инстинкту своей природы; но] когда должно было овладеть инстинктом, когда понастоящему должна была бы начаться плодотворнейшая эпоха его деятельности, — оказалось, о горе, о стыд нам! — оказалось, что жизнь среди нас искавила светлый дар его разума так, что он послужил только на гибель ему! Страшна и нелепа эта жизнь!

И не вздумайте сказать, что пример Гоголя — одинокое явление; нет. Правда, ни в ком не было столько энергии, как в нем, потому ничья гибель и не была так страшна, как его гибель. Но лучшие люди, так или иначе, изнемогали под тяжестью жизни, едва пришла им пора, опомнившись от страстного увлечения свежеею молодостью, обозреть пронизательным взглядом мужа жизнь, все они погибли. Легок и весел был характер Пушкина, а на тридцатом году, подобно Гоголю, изнемогает он нравственно, [теряет силу быть руководителем своей нации] и умирает через несколько лет [не по какому-нибудь случайному сцеплению обстоятельств, — нет], потому что невыносимо было ему оставаться на свете, и он искал смерти. Лермонтов? — Лермонтов [тоже] рад был расстаться поскорее с жизнью:

За все, за все тебя благодарю я:  
За тайные мучения страстей,  
За горечь слез, отраву поцелуя,  
За ложь врагов и клевету друзей;  
За жар души, растроченный в пустыне,  
За все, чем я обманут в жизни был...  
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне  
Не долго я еще благодарил...

Как вы думаете, напрашивался ли бы он на ссоры и дуэли, если бы легче казалась ему жизнь, нежели смерть? А Кольцов? О, у этого судьба была заботлива, она хотела избавить его от

\* Доктор этот, г. А. Т. Тарасенков, находит («Московские ведомости», № 89), что мы вывели из его рассказа заключения, чрезвычайно далекие от выводов, какие бы должно сделать, когда сказали в январской книжке нынешнего года («Заметки о журналах»), что из фактов, представленных им, следует: «Гоголь уморил себя голодом». По мнению г. Тарасенкова, следует сказать: «Причиною смерти Гоголя было пощение», — эти слова действительно гораздо точнее, нежели выражение, нами употребленное.

желания смерти, предупредив всякие желания: железного здоровья был человек, а нехватило его железного здоровья больше, чем на тридцать два года; заботлива была судьба, хотела предупредить его желания, а все-таки не успела:

В душе страсти огонь  
Разгорался не раз,  
Но в бесплодной тоске  
Он сгорел и погас.  
Только тешилась мной  
Злая ведьма судьба,  
Только силу мою  
Сокрушила борьба... (и т. д.)  
Жизнь! зачем же собой  
Обольщаешь меня?  
Если б силу бог дал,  
Я разбил бы тебя!

Не вспомнить ли еще Полежаева, который, по всему видно, был не хуже других, но

Не расцвел, и отцвел  
В утре пасмурных дней...

Но долго бы было вспоминать всех: кого ни вспомнишь из сильных душою людей, все они годятся в этот список. Что же вы, милостивый государь, претендуете на Гоголя за то, что был Жизнью измят он...

Такова была ж его натура: не ему одному, всем была такая участь: нравственное изнеможение, ведущее за собою преждевременную, почти умышленную, во всяком случае, желанную смерть. Мир тебе, человек слишком высоких и слишком сильных стремлений. [Не мог ты остаться здоровым и благоразумным среди нас.]

Мир тебе во тьме Эреба!..  
Ты своею силой пал...

Но мы уклонились от предмета; мы хотели сказать, что если нарушал Гоголь законы благоразумия и гуманности в своем аскетизме, то и недаром обходились ему эти нарушения. Вот, например, едва ли он был злым и бесчувственным сыном, это по всему видно, даже по тем изуверским письмам, в которых он так жестоко оскорбляет чувство сыновней почтительной любви своими назиданиями матери, — скажите же, легко ли было ему потом опомниться, видеть вдруг, какую дикую сумятицу наделал он, как грубо и неуместно он проступился, — увидеть все это из жалоб, которые ему на него справедливо принесла огорченная им мать.

«1847 г. 3 мая.

Я получил письмо ваше от 12 марта, исполненное упреков. Простите меня: я перед вами виноват. Виноват также и перед моими добрыми сестрами, которые меня искренно и нелицемерно любят, и которым я показал, как бы

вовсе не замечаю любви их. У меня был некоторый свой умысел: получая сам отовсюду упреки и находя неоцененную пользу для души моей от всяких упреков (даже и несправедливых), я хотел попрекнуть вас, особенно сестер, с тем чтобы уже никогда ни в чем не попрекать. Я не имел намерения оскорбить их. Поверьте, что я совсем не думаю, чтобы кто-нибудь из них был бесполок в делах жизни. Если бы я вам сказал откровенно, что я о каждой из вас думаю, то слова мои могли бы даже оскорбить вашу скромность. Скажу вам откровенно, что я горжусь вами: вами горжусь, что вы мать моя, сестрами — что они сестры мои. Но, зная по себе, как способны мы задремать, когда окружающие нас люди говорят нам об одних только наших достоинствах и ни слова не упоминают о недостатках наших, я принял на себя, на время, мне не принадлежащую обязанность, видя, что никто другой, кроме меня, не отважился бы взять ее. Упрек мой в распоряжениях и расходах экономических был совершенно несправедлив. Это я увидел ясно из вашего письма, где вы означили обстоятельно, на какие именно потребности забираются товары у разносчиков и в лавках. Я имел в виду не столько попрекнуть сестер за сделанное дело, сколько напомнить вообще об аккуратности впредь, которой вообще у всех нас, грешных русских людей, очень мало, начиная с меня. Еще раз прошу прощения, как у вас, маменька, так равно и у всех сестер. Отныне не только вы, которой, как матери, я не имею права давать упреков, но даже никто из моих сестер не получит от меня ни за что выговора. И скажу вам искренно, что я очень рад; сложивши с себя, наконец, эту неприятную и мне не принадлежащую обязанность. Не сердитесь же на меня. Помните только то, что перед вами вновь стоит благодарный и признательный сын ваш. Вновь повторяю вам, если вы думаете, что я уверен в совершенстве моем и в том, что я могу учить других, вы впадаете в то же самое заблуждение, в которое впади и другие. Никогда еще я не чувствовал так живо, что я ученик, что мне нужно многому учиться, и никогда еще не страдал я таким желанием учиться. Письмо ваше, исполненное мне выговоров, я принял с благодарностью. Говорю вам это искренно, и перечитываю его несколько раз, потому что мне это очень нужно. Не сердитесь же на меня. Меня это очень огорчит, тем более, что я и без того неспокоен. Я чувствую уже и без того упреки совести на душе своей...» (Том VI, стр. 387—389.)

Иной скажет: «Это притворство, Гоголь вовсе не чувствует раскаяния, он только притворяется смирившимся». Положим; но если он считал себя правым, тем тяжелее была ему необходимость принять на себя унижительную роль провинившегося в нарушении самых первых обязанностей; чем меньше искренности в просьбе о прощении, тем тяжелее просить его. Но, читая письма Гоголя из аскетического периода, мало-помалу отвергаешь мысль, что тут говорит лицемер (как ни вероятно кажется такое предположение сначала); и убеждаешься, что он большею частью писал в состоянии увлечения, не говоря уже о том, что в самом тоне слышится часто что-то задушевное, чтобы быть притворным; все свидетельствует о том: совершенное забвение ловкости и условных приличий, о которых никогда не забывает лицемер, нелогичность объяснений и оправданий и вместе с тем постоянное повторение одной и той же, неловкой и неизменной мысли в десятках писем к разным лицам: выдумщик говорил бы связнее и правдоподобнее и не оставался бы так однообразен в своих выдумках, даже самых неловких. Нет, видно, что в голове Гоголя действительно слишком упорно засели мысли, им выражаемые.

Не относительно родных только нарушал он в своём аскетическом назидании всякие условия житейской осмотрительности: всем писал он такие вещи, которыми оскорблялся каждый его корреспондент; со всеми своими друзьями ссорился он из-за назиданий, слишком бесцеремонно раздаваемых от него всем и каждому; все его приятели бывали вынуждаемы или напоминать ему, что он нарушает в своём проповедничестве правила скромности и приличия, или прекращать сношения с ним, — и каждый раз он скорбел о малодушных и маловерных, и удивлялся, что его нравственные обличения принимаются как оскорбления. Вот одно небольшое письмо, которое, кажется нам, внушено уже никак не притворством, — в нём действительно говорит душевная скорбь:

«1849 г.

Какие странные мне привез от вас Аксаков слова! Вы потому ко мне не пишете, что не в силах принять от меня советов. Друг мой, Н. Ф., если б вы знали, как я далек от того, чтобы суметь кому-либо дать умный совет! Я весь исстрадался. Я так болен и душой и телом, так расколебался весь, что одна состраждающая строчка вашего доброго участия могла бы быть мне освежающей каплей; а вы вместо (того) приказали передать мне такие слова, точно как бы в насмешку надо мной. Добрый друг мой, я болен...» (Том VI, стр. 498.)

Но как же принимал Гоголь те оскорбления, которым подвергался сам? Конечно, каковы бы ни были его убеждения, человек не может совершенно заглушить в себе самолюбия; особенно невозможно было это Гоголю, справедливо думавшему о себе очень высоко. Но, очевидно, он и сам старался подчинить свои чувства тем правилам смирения, которые внушал другим, старался принимать оскорбления как справедливые наказания или как очистительные страдания; часто ему, кажется, удавалось это. Вот, например, отрывок из письма его к Жуковскому, после того, как он узнал о строгой критике, которою была встречена его «Переписка с друзьями»:

«1847 г. 6 марта.

Письмо от 6/18 февраля, пущенное из Франкфурта тобою с известием о книге моей, получено мною только третьего дня, то есть 4 марта. Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся, точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед». (Том VI, стр. 350.)

Эта манера резким образом отзываться о самом себе не может быть сочтена ханжеством уже и потому, что с самой молодости Гоголь имел привычку выражаться о себе подобным языком. Свою неудачу на университетской кафедре он излагал одному из своих друзей так:



«1835 г. декабря 6.

Я расстался с университетом, и через месяц опять беззаботный казак. Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего бесславия, потому что общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся — в эти полтора года я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня... Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой к чердаку! Вас никто не знает, вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнетесь с большею силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и проч. и проч.... Я тебе одному говорю это, другому не скажу я: меня назовут хвастуном и больше ничего. Мимо, мимо все это!» (Том V, стр. 246—247.)

Тут (1835 г.) уже перемешаны презрительные и гордые выражения о себе точно таким же образом, как в письмах по поводу «бесславия», нанесенного впоследствии «Перепискою с друзьями».

В «Переписке» изумительно показалось то неуважение, с которым Гоголь говорит о своих сочинениях — эта черта была вовсе не новостью в его характере. Изумительно в «Переписке» показалось и то, что несправедливые и вовсе неприличные нападения некоторых журнальных врагов на «Ревизора» и «Мертвые души» называет он не лишенными основательности и т. д. — все это говорил он и гораздо прежде. В 1838 году, за два или три года до развития аскетического направления, он уже писал своей матери:

«1838 г. декабря 10.

Мне было точно приятно читать, что вы встретили там своих старых знакомых и, как кажется, провели время не скучно. Мне даже было смешно несколько, когда я добрался до того места вашего письма, где поспорили за меня с некоторыми вашими приятелями. Пожалуйста, вы обо мне не очень часто говорите с ними и особенно не заводите из-за меня никаких споров. Гораздо лучше будет и для вас, и для меня, если на замечания и толки о моих литературных трудах вы будете отвечать: «я не могу быть судьей его сочинений, мои суждения всегда будут пристрастны, потому что я его мать, но я могу сказать только, что он добрый, меня любящий сын, и с меня довольно». И будьте уверены, что почтение других усугубится и к вам вдвое, а вместе с тем и ко мне, потому что такой отзыв матери есть лучшая репутация человеку, какую только он может иметь... Я об этом потому заикнулся, что в моих сочинениях очень, очень много грехов, и те, которые с вами спорят, иногда бывают очень, очень справедливы. Я вам советую иногда прочесть разборы в «Библиотеке для чтения» и «Северной пчеле» о моих сочинениях, и вы увидите, что их вовсе не так хвалят, как вы об них думаете, и почти всегда эти замечания справедливы. Но когда-нибудь в другое время поговорим об этой статье». (Том V, стр. 350—351.)

Странно также показалось в «Переписке» уверение Гоголя, что его литературные заслуги достойны гораздо меньшего уважения, нежели какого были бы достойны хорошие нравственные качества, если б имел их. Но и это говорил он издавна: так, еще в 1835 году, он писал матери:

«1835 г. апреля 12.

...Вы, говоря о моих сочинениях, называете меня гением. Как бы это ни было, но это очень странно. Меня доброго, простого человека, может быть, не совсем глупого, имеющего здравый смысл, и называть гением! Нет, маменька, этих качеств мало, чтобы составить его; иначе у нас столько гениев, что и не протолпиться. Итак, я вас прошу, маменька, не называйте меня никогда таким образом, а тем более еще в разговоре с кем-нибудь. Не изъясляйте никакого мнения о моих сочинениях и не распространяйтесь о моих качествах. Скажите только просто, что он добрый сын, и больше ничего не прибавляйте и не повторяйте несколько раз. Это для меня лучшая похвала». (Том V, стр. 239.)

Кстати о сочинениях Гоголя. Есть люди, воображающие, будто он, когда писал «Ревизора», вовсе не имел в виду нападать на взяточничество [и не понимал, что нападает на взяточничество], — он, будто бы, просто хотел написать смешную комедию. Эта нелепая выдумка почти не стоит того, чтобы и опровергать ее; приведем, однако же, несколько отрывков из писем, в которых Гоголь говорит о «Ревизоре» — из них не видно, не только хотел ли <он> смешить или заставить содрогнуться публику «Ревизором», но также и то, что он хотел бы, если бы позволяли ему обстоятельства, брать предметами своих горьких произведений предметы более важные, нежели мелкие плутни провинциальных художников:

«Я не написал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей; но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на днях начал составлять, уже и заглавие написано на белой толстой тетради: «Владимир 3-й степени», и сколько злости, смеху, соли!.. Но вдруг остановился — что из того, когда пьеса не будет играть? Драма живет только на сцене. Без нее она — как душа без тела. Какой же мастер понесет на показ народу неоконченное произведение? Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости!» (Том V, стр. 173—174.)

«1836 г. апреля 29.

...Я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силах удержать поездку в Москву и попытку хлопотать о чем-либо... Мочи нет. Делайте, что хотите с моею пьесой, но я не стану хлопотать о ней. Мне она сама надоела так же, как хлопоты о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях; полицейские против меня; купцы против меня; литераторы против меня. Бранят и ходят на пьесу; на четвертое представление нельзя достать билетов. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия. Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне больше и лучше теперь знакома, нежели провинциальная. Досадно видеть против себя людей тому, который их любит между тем братскою любовью». (Том V, стр. 254.)

«1836 г. мая 10.

Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь, когда видишь, как ложно, в каком неверном виде ими все принимается. Частное принимать за общее, случай — за правило! Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем. Выведи на сцену двух, трех плутов — тысяча честных людей сердятся, говорит: «Мы не плуты». Но бог с ними! Я не оттого еду за границу, чтоб не умел перенести этих неудовольствий. Мне хочется поправиться в своем здоровье, рассеяться, развлечься и потом, избравши несколько постоянное пребывание, обдумать хорошенько труды будущие». (Том V, стр. 255—256.)

«1836 г. мая 15.

Я не сержусь на толки, как ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются те, которые отыскивают в моих оригиналах свои собственные черты и бранят меня, не сержусь, что бранят меня неприятели литературные, продажные таланты, но грустно мне это всеобщее невежество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупейшее мнение ими же опозоренного и оплеванного писателя действует на них же самих и их же водит за нос; грустно, когда видишь, в каком еще жалком состоянии находится у нас писатель. Все против него — и кто же говорит? Это говорят опытные люди, которые должны бы иметь на сколько-нибудь ума, чтобы понять дело в настоящем виде, люди, которые считаются образованными и которых свет, по крайней мере русской свет, называет образованными. Выведены на сцену плуты, и все в ожесточении, зачем выводить на сцену плутов. Пусть сердятся плуты; но сердятся те, которых я не знал вовсе за плутов. Прискорбна мне эта невежественная раздражительность, признак глубокого, упорного невежества, разлитого на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы? Я огорчен не нынешним ожесточением против моей псысы; меня заботит моя печальная будущность. Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны; но жизнь петербургская ярка перед моими глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. Малейшая черта ее — и как тогда заговорят мои соотечественники! И то, что бы приняли люди просвещенные с громким смехом и участием, то самое возмущает желчь невежества, а это невежество всеобщее. Сказать о плуте, что он плут, считается у них подрывом государственной машины; сказать какую-нибудь только живую и верную черту — значит, в переводе, опозорить все сословие и вооружить против него других или его подчиненных. Рассмотрим положение бедного автора, любящего между тем сильно свое отечество и своих соотечественников, и скажи ему, что есть небольшой круг, понимающий его, глядящий на него другими глазами, — утешит ли это его? Москва больше расположена ко мне, но отчего? Не оттого ли, что я живу в отдалении от нее, что портрет ее еще не был виден нигде у меня, что, наконец... но не хочу на этот раз выводить все случаи. Сердце мое в эту минуту наполнено благодарностью к ней за ее внимание ко мне. Прощай. Еду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторские, свои будущие творения, и возвращусь к тебе, верно, освеженный и обновленный. Все, что ни делалось со мною, все было спасительно для меня. Все оскорбления, все неприятности посылались мне высоким провидением на мое воспитание, и ныне я чувствую, что не земная воля направляет путь мой. Он, верно, необходим для меня». (Том V, стр. 260—261.)

Да, мы видим из этого, что Гоголь не только понимал необходимость быть грозным сатириком, понимал также, что слаба еще

и мелка та сатира, которую он должен был ограничиться в «Ревизоре». В этой, оставшейся неудовлетворенною, потребности расширить границы своей сатиры надобно видеть одну из причин недовольства его своими произведениями. В период аскетизма это недовольство высказывал он странным языком, объясняя странными источниками; но та причина, которая высказана в приведенных нами отрывках, обнаруживает в Гоголе то глубокое понимание обязанностей и предметов сатиры, которое только теперь начинает переходить в общее убеждение.

Не знаем, нужно ли было в настоящее время доказывать, что Гоголь, каковы ни были его заблуждения в последний период жизни, никогда не был отступником от стремлений, внушивших ему «Ревизора»; доказывать, что как бы ни были странны многие мнения и поступки его с 1840 года, он действовал вообще не по расчетливому лицемерству — если в этом уже были убеждены все наши читатели, тем лучше, хотя в таком случае статья наша лишилась бы всякого значения. Но взявшись за изложение об этом предмете мнений, давно уже подтверждавшихся «Авторскою исповедью» и отрывками корреспонденции, помещенными в «Записках о жизни Гоголя», и ныне еще более подтверждаемых изданием его писем, мы должны привести из этих писем еще несколько отрывков, кажущихся нам интересными.

В последние годы жизни Гоголя все друзья увидели в нем меланхолика, между тем как прежде этого не думал о нем никто. Мы уже привели из «Авторской исповеди» свидетельство самого Гоголя о том, что всегда, с самых детских лет, он был человеком грустного характера. Но, быть может, воспоминание обманывало его? Неужели в самом деле только судорожною шутливостью его обманывались друзья, принимавшие его некогда за человека с веселым характером? Да, они обманывались. На 18 году он уже был задумчив и печален; ему уже нужно было уверять своих родных, что он вовсе не так печален, как кажется; но среди этих уверений о веселости своего характера он сам выдает себя, замечая, что часто думает о том, как быть веселым. Плоха веселость этого юноши, который видит уже надобность придумывать, как бы ему стать веселым.

«1827 г. февраля 26.

...Вы знаете, какой я охотник до всего радостного. Вы одни только видели, что под видом, иногда для других холодным, угрюмым, таилось кипучее желание веселости (разумеется, не буйной), и часто, в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни, удивлялся, как люди жадные счастья немедленно убегают его, встретившись с ним». (Том V, стр. 47.)

Не надобно дивиться тому, что слишком много было ошибочных суждений о характере Гоголя — этот характер был так многосложен, что еще в ранней молодости уже казался загадочным. По выходе из Нежинского лицея он писал матери:

«1828 г. марта 1.

Я не говорил никогда, что потерял целые 6 лет даром; скажу только, что нужно удивляться, что я мог столько узнать еще. Вы изъявляли сожаление, что меня вначале не поручили кому; но знаете ли, что для этого нужны были тысячи? Да что бы из этого было? Ежели я что знаю, то этим обязан совершенно одному себе. И потому не нужно удивляться, если надобились деньги иногда на мои учебные пособия. Если не совершенно достиг того, что мне нужно, у меня не было других путеводителей, кроме меня самого; а можно ли самому, без помощи других, совершенствоваться? Но времени для меня впереди еще много; силы и старания имею. Мои труды, хотя я их теперь удвоил, мне не тягостны нисколько; напротив, они не другим чем мне служат, как развлечением, и будут также служить им и в моей службе, в часы, свободные от других занятий.

Что же касается до бережливости в образе жизни, то будьте уверены, что я буду уметь пользоваться малым. Я больше поиспытал горя и нужд, нежели вы думаете; я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало обижался, что мало был прижимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагоприятностей, несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч. Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слышал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаюсь загадкой для всех, никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренно сам смеялся над собою вместе с вами? Здесь меня называют смиренным, началом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных — умен, у других — глуп. Как угодно почитайте меня, но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер. Верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда не унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрек благому. Вы меня не называйте мечтателем, опрометчивым, как будто бы я внутри сам не смеялся над ними. Нет, я слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем. Уроки, которые я от них получил, останутся навеки неизгладимыми, и они — верная порука моего счастья. Вы увидите, что со временем за все их худые дела я буду в состоянии заплатить благодарениями, потому что зло их мне обратилось в добро. Это неперемнная истина, что ежели кто порядочно обтерся, ежели кому всякий раз давали чувствовать крепкий гнет несчастий, тот будет счастливейший». (Том V, стр. 70—71.)

Многосложен был характер Гоголя. Например, неоспоримо то, что в нем сильно развилась уклончивость, столь неизбежно поселяемая почти в каждом из нас обстановкой нашей жизни; но в то же самое время он часто действовал с прямою, редкою в нашем обществе; из множества примеров этого приведем только один. У многих ли достало бы прямодушия так откровенно объясняться с друзьями, которые имели причину быть недовольными.

«1847 г. 28 августа.

В любви вашей ко мне я никогда не сомневался, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Напротив, я удивлялся только излишеству ее, — тем более, что я на нее не имел никакого права: я никогда не был особенно откровенен с вами и почти ни о чем том, что было близко душе моей, не говорил с вами, так что вы скорее могли меня узнать только как писателя, а не как человека, и этому, может быть, отчасти способствовал милый сын ваш, Константин Сергеевич. В противность составившейся обо мне сказке, которой вы так охотно верите, что я, то есть, люблю угождения и похвалы каких-то знатных

Маниловых, скажу вам, что я скорее старался отталкивать от себя, чем привлекать всех тех, которые способны слишком сильно любить; я и с вами обращался несколько не так, как бы следовало. Обольстили меня не похвалы других, но я сам обольстил себя, как обольщаем себя мы все; как обольщает себя всяк, кто сколько-нибудь имеет свой собственный образ мыслей и слышит в чем-нибудь свое превосходство, как обольщает себя в великодушных мечтах своих и любезный сын ваш Константин Сергеевич, как обольщаем мы себя все до единого, грешные люди; и чем кто больше получил даров и талантов, тем больше себя обольщает. А демон излишества, который теперь подталкивает всех, раздует так наше слово, что и смысла, в котором оно сказано, не поймется». (Том VI, стр. 418—419.)

Гоголь предался направлению, которое обыкновенно делает человека равнодушным к бедности других. Но именно в то время, как предался ему, он сделался человеком более заботливым и сострадательным, нежели когда-нибудь. Не говорим ни о его пожертвовании своим наследством, ни о его намерении положить в банк сумму для поддержания талантливых молодых людей, — эти факты знакомы каждому; приведем два случая, из менее известных. В 1847 году, в эпоху «Переписки с друзьями», он пишет одному из московских литераторов, который был его казначеем:

«1847 г., сентября 2.

Еще прошу особенно тебя наблюдать за теми из юношей, которые уже выступили на литературное поприще. В их положение хозяйственное стоит, право, взойти. Они принуждены бывают весьма часто из-за дневного пропитания брать работы не по силам и не по здоровью. Цена пять рублей серебром за печатный лист просто бесчеловечная. Сколько ночей он должен просидеть, чтоб выработать себе нужные деньги. Особенно если он при этом сколько-нибудь совестлив и думает о своем добром имени. Не забудь также принять в соображение и то, что нынешнее молодое поколение и без того болезненно, расстроено нервами и всякими недугами. Придумай, как бы прибавлять им от имени журналистов плату, которые будто бы не хотели сделать это гласно, словом — как легче и лучше придумается. Это твое дело. Твоя добрая душа найдет, как это сделать, отклоня всякую догадку и подозрение о нашем с тобою теплом личном участии в этих делах». (Том VI, стр. 424.)

Вот одно из его писем 1849 года:

«1849 г. мая 12.

Посылаю, добрая матушка, полтораста рублей сер<sup>е</sup>бром не для вас собственно, но для раздачи тем бедным мужичкам нашим, которые больше всех других нуждаются, на обзаведение и возможность производить работу в текущем году, и особенно тем, у которых передох весь скот. Авось они помолются обо мне. Молитвы теперь очень нужны. Я скорблю и болею не только телом, но и душою. Много нанес я оскорблений. Ради бога, помолитесь обо мне. О, помолитесь также о примирении со мною тех, которых наиболее любит душа моя. На следующей неделе буду писать к вам...» (Том VI, стр. 585.)

Эти факты не нуждаются в комментариях. Тот, кто, сделавшись аскетом, продолжает быть человеком сострадательным, никогда не только не был, но и не мог быть дурным человеком.

Сомневались в его искренности и намерениях, ради странности его заблуждений (возвращаемся в последний раз к этому

предмету), но возможно ли это сомнение после таких писем, как, например, следующее:

«1847 г. 25 мая.

Статья Павлова говорит в пользу Павлова и вместе с тем в пользу моей книги. Я бы очень желал видеть продолжение этих писем: любопытно знать, к какому результату приведут Павлова его последние письма. Покуда для меня в этой статье замечательно то, что сам же критик говорит, что он пишет письма свои затем, чтобы привести себя в то самое чувство, в каком он был пред чтением моей книги, и сознается сам невинно, что эта книга (в которой, по его мнению, ничего нет нового, а что и есть нового, то ложь) сбила, однако же, его совершенно с прежнего его положения (как он называет) *нормального*. Хорошо же было это нормальное положение! Он, разумеется, еще не видит теперь, что этот возврат уже для него невозможен и что даже в этом первом своем письме сам он стал уже лучше того Павлова, каким является в своих *трех последних повестях*. Пожалуйста, этого явления не пропусти из виду, когда возчувствуешь желание сказать также несколько слов по поводу моей книги». (Том VI, стр. 401.)

Читатель помнит превосходные письма г. Павлова; <sup>8</sup> он знает, возможно ли человеку, хотя сколько-нибудь понимающему точку зрения, с которой разбирает «Переписку» критик, полагать, что «Переписка» может принести какое-нибудь назидание г. Павлову? Разве не очевидно, что она кажется ему и не может не казаться набором пустых общих мест, лживость которых равняется только их напыщенности? Каждому, сколько-нибудь понимающему образ мыслей критика, очевидно это, — Гоголю это не приходит и в голову, напротив, ему воображается, будто «Переписка», которая в критике вызвала только скорбь о заблуждениях автора, чему-то очень многому и очень полезному научила этого критика! Наивность этой мечты поразительна; то, что Гоголю могла прийти в голову подобная мысль, уже одно может совершенно доказать, что заблуждения Гоголя никак не могли быть ничем иным, как развитием воспоминаний, оставленных в нем детскими уроками. Он, как видим, совершенно не понимал, что могут быть для убеждений иные основания, кроме тех, которые были вложены в него уроками детства.

Часто говорят: Гоголь погиб для искусства, предавшись направлению «Переписки с друзьями». Если это понимать в том смысле, что новые умственные и нравственные интересы, выраженные «Перепискою», отвлекали его деятельность от сочинения драм, повестей и т. п., в этом мнении есть часть истины: действительно, при новых заботах у него осталось менее времени и силы заниматься художественною деятельностью; кроме того, и органическое изнеможение ускорялось новым направлением. Но когда предположением о несовместимости его нового образа мыслей с служением искусству хотят сказать, что он в художественных своих произведениях изменил бы своей прежней сатирической идее, то совершенно ошибаются. Хотя в уцелевшем отрывке второго тома «Мертвых душ» встречаются попытки на создание идеальных лиц, но общее направление этого тома очевидно таково

же, как и направление первого тома, как мы уже имели случай заметить при появлении 2-го тома, два года тому назад<sup>9</sup>. Кроме того, надо вспомнить, что, когда явился первый том «Мертвых душ», Гоголь уже гораздо более года, быть может, года два, был предан аскетическому направлению — это обнаруживается письмами — однакож, оно не помешало ему познакомиться с Чичиковым и его свитою.

Если этих доказательств мало, вот прямое свидетельство самого Гоголя о том, что он в эпоху «Переписки» не видел возможности изменять в художественных произведениях своему прежнему направлению. Странные требования и ожидания относительно присылки ему замечаний на «Переписку с друзьями» убеждают, что эти строки писаны во время самого преувеличенного увлечения ошибочными мечтами «Переписки» и «Завещания», — и тем большую цену приобретают слова Гоголя о невозможности изобразить в художественном произведении жизнь с примирительной точки зрения.

«1847 г. 27 апреля.

Появление моей книги, несмотря на всю ее чудовищность, есть для меня слишком важный шаг. Книга имеет свойства пробного камня: поверь, что на ней испробуешь как раз нынешнего человека. В суждениях о ней непременно выскочит человек со всеми своими помышлениями, даже теми, которые он осторожно таит от всех, и вдруг станет видно, на какой степени своего душевного состояния он стоит. Вот почему мне так хочется собрать все толки всех о моей книге. Хорошо бы прилагать при всяком мнении портрет того лица, которому мнение принадлежит, если лицо мне незнакомо. Поверь, что мне нужно основательно и радикально пощупать общество, а не взглянуть на него во время бала или гулянья: иначе у меня долго еще будет все невпазд, хотя бы и возросла способность творить. А этих вещей никакими просьбами нельзя вымолить. Одно средство: выпустить заносчивую, задирающую книгу, которая заставила бы встрепенуться всех. Поверь, что русского человека, покуда не рассердишь, не заставишь заговорить. Он все будет лежать на боку и требовать, чтобы автор попотчивал его чем-нибудь примиряющим с жизнью (как говорится). Безделаца! Как будто можно выдумать это примиряющее с жизнью. Поверь, что какое ни выпусти художественное произведение, оно не возьмет теперь влияния, если нет в нем именно тех вопросов, около которых ворочается нынешнее общество, и если в нем не выставлены те люди, которые нам нужны теперь и в нынешнее время. Не будет сделано этого — его убьет первый роман, какой ни появится из фабрики Дюма. Слова твои о том, как чорта выставить дураком, совершенно попали в такт с моими мыслями. Уже с давних пор только и хлопочу о том, чтоб после моего сочинения насмеялся вволю человек над чортом». (Том VI, стр. 375—376.)

Мы кончили наши извлечения из «Писем» Гоголя, — уже слишком много приведено нами выписок, большею частью утомительных своею монотонностью и тяжелою странностью мыслей, но показавшихся нам не лишёнными важности для того, чтобы хотя несколько разъяснить вопрос о Гоголе как о человеке. Чтение писем его с 1840 г. чрезвычайно утомительно и очень неприятно; но мнение, внушаемое ими о Гоголе, выгодно, насколько может быть выгодно мнение о человеке, вдавшемся в заблуждения,



пагубные для него самого, грустные для всех поклонников его великого таланта и ума. Мы уже сказали, что сведения, до сих пор обнаруженные, слишком еще не полны и вовсе недостаточны для того, чтобы составить о характере и развитии Гоголя, как человека, точное понятие без опасности ошибиться. Но насколько мы можем судить о Гоголе по этим недостаточным материалам, мы думаем, что наиболее близкое к истине мнение будет следующее.

Родившись среди общества, лишенного всяких прочных убеждений, кроме некоторых аскетических мнений, дошедших до этого общества по преданию старины и нимало не прилагающихся этим обществом к жизни, Гоголь ни от воспитания, ни даже от дружеского кружка своих сверстников не получил никакого содействия и побуждения к развитию в себе стройного образа мыслей, нужного для каждого человека с энергическим умом, тем более для общественного деятеля. Потом, проведя свою молодость в кругу петербургских литераторов, он мог получить от них много хорошего для развития формальной стороны своего таланта, но для развития глубоких и стройных воззрений на жизнь и это общество не доставило ему никакой пищи. Между тем, инстинкт благородной и энергической природы обратил его к изображению общественной жизни с той стороны, которая одна могла в то время вдохновлять истинного поэта, поэта идеи, а не только формы. Литературная известность сблизила его с некоторыми литераторами, не принадлежащими к петербургскому кружку, в котором он жил, но пользовавшимися в этом кружке репутациею замечательных ученых и мыслителей<sup>10</sup>. В то время Гоголь еще мало заботился об общих теориях, и знакомство с этими мыслителями пока еще не оказывало на него особенного влияния: его мало занимали мысли, занимавшие их; они только западали, более или менее случайным образом, в его память, в которой хранились некоторое время без всякого развития и употребления. Как мнение петербургского литературного кружка, в котором жил Гоголь, содействовало сближению его с этими учеными, так оно воспрепятствовало сближению его с другими тогдашними литераторами, которые одни могли бы иметь полезное влияние на его умственное развитие: Полевой и Надеждин не пользовались уважением людей, среди которых жил Гоголь.

Юноща поглощен явлениями жизни; ему не время чувствовать потребность общих теорий, если эта потребность не развита в нем воспитанием или обществом. Гоголь писал о тех явлениях, которые волновали его благородную природу, и довольствовался тем, что разоблачает эти вредные явления; о том, откуда возникли эти явления, каково их отношение к общим принципам нашей жизни, никто ему не говорил, а самому ему еще рано было для таких отвлеченностей отрываться от непосредственного созерцания жизни. Собственно говоря, он не имел тогда никакого образа

мыслей, как не имели его в то время никто из наших литераторов [ , кроме двух журналистов, от которых отстранялся он своими литературными связями, и нескольких молодых людей, которых не мог он знать по их безвестности]. Он писал так, как рассуждает большая часть из нас теперь, как судили и писали тогда почти все: единственно по внушению впечатления. Но впечатление, производимое безобразными явлениями жизни на его высокую и сильную натуру, было так сильно, что произведения его оживлены были энергиею негодования, о которой не имели понятия люди, бывшие его учителями и друзьями. Это живое негодование было вне круга их понятий и чувств — они смотрели на него довольно индифферентно, не ободряя и не осуждая его мыслей слишком решительно, но совершенно сочувствуя формальной стороне таланта Гоголя, которым дорожили за живость его картин, за верность его языка, наконец за уморительность его комизма.

Слабость здоровья, огорчения, навлеченные «Ревизором», и, быть может, другие причины, остающиеся пока неизвестными, заставили Гоголя уехать за границу и оставаться там много лет, почти до конца жизни, посещая Россию только изредка и только на короткое время. Вскоре после отъезда за границу начался для молодого человека переход к зрелому мужеству.

При развитии, подобном тому, какое получил Гоголь, только для очень немногих, самых сильных умом людей настает пора умственной возмужалости, та пора, когда человек чувствует, что ему недостаточно основываться в своей деятельности только на отрывочных суждениях, вызываемых отдельными фактами, а необходимо иметь систему убеждений. В Гоголе пробудилась эта потребность.

Какими материалами снабдило его воспитание и общество для утоления этой потребности? В нем ничего не нашлось из нужных для того данных, кроме преданий детства; те умственные влияния, о которых вспоминал он и с которыми встречался он в заграничной жизни, все склоняли его к развитию этих преданий, к утверждению в них. Он даже не знал о том, что могут существовать иные основания для убеждений, могут быть иные точки воззрения на мир.

Так развивался в нем образ мыслей, обнаружившийся перед публикою изданием «Переписки с друзьями», перед друзьями гораздо ранее, до издания первого тома «Мертвых душ».

В статье о сочинениях Жуковского<sup>11</sup> мы говорили об одном из тех людей, вместе с которыми, отчасти под руководством которых, жил теперь Гоголь. Теоретические основания были одни и те же у них, но результаты, произведенные этою теориею, вовсе не одинаково отразились и на нравственной, и на литературной, и даже на органической жизни Гоголя и его сотоварищей — учителей, потому что его натура была различна от их натур. То, что оставалось спокойным, ничему не мешающим и даже незаметным

во внешности у них, стало у него бурным, все одолевающим, неудобным для житейской и литературной деятельности и невыносимым для организма. В этом отношении все другие, кроме Гоголя, были сходны с Жуковским, которого мы и берем для сравнения с Гоголем, ссылаясь на нашу статейку о сочинениях Жуковского, вышедших в нынешнем году.

Умеренность и житейская мудрость — вот отличительные черты натуры Жуковского по вопросу о применении теории к жизни. При таких качествах теория оказывалась содействующею у Жуковского мудрому устроению своей внутренней жизни, мирных отношений к людям, нисколько не стесняющею сил и деятельности таланта.

У Гоголя было не то. Многосложен его характер, и до сих пор загадочны многие черты его. Но то очевидно с первого взгляда, что отличительным качеством его натуры была энергия, сила, страсть; это был один из тех энтузиастов от природы, которым нет середины: или дремать, или кипеть жизнью; увлечение радостным чувством жизни или страданием, а если нет ни того, ни другого — тяжелая тоска.

Таким людям не всегда безопасны бывают вещи, которые всем другим легко сходят с рук. Кто из мужчин не волочитя, кто из женщин не кокетничает? Но есть натуры, с которыми нельзя шутить любовью: стоит им полюбить, они не отступят и не побоятся ни разрыва прежних отношений, ни потери общественного положения. То же бывает и в отношении идей. Человек «разумной середины» может держаться каких угодно теорий и все-таки проживет свой век мирно и счастливо. Но Гоголь был не таков. С ним нельзя было шутить идеями. Воспитание и общество, случай и друзья поставили его на путь, по которому безопасно шли эти друзья, — что он наделал с собою, став на этот путь, каждый из нас знает.

Но все-таки что же за человек был он в последнее время своей жизни? Чему верил он, это мы знаем; но чего теперь хотел он в жизни для тех меньших братьев своих, которых так благородно защищал прежде? Этого мы до сих пор не знаем положительно. Ужели он в самом деле думал, что «Переписка с друзьями» заменит Акакию Акакиевичу шинель? Или «Переписка» эта была у него только средством внушить тем, которые не знали того прежде, что Акакий Акакиевич, которому нужна шинель, есть брат их? Положительных свидетельств тут нет. Каждый решит это по своему мнению о людях. Нам кажется, что человек, так сильно любивший правду и ненавидевший беззаконие, как автор «Шинели» и «Ревизора», неспособен был никогда, ни при каких теоретических убеждениях окаменеть сердцем для страданий своих ближних. Мы привели выше некоторые факты, кажущиеся нам доказательствами того. Но кто поручится за человека, живущего в нашем обществе? Кто поручится, что самое

горячее сердце не остынет, самое благородное не испортится? Мы имеем сильную вероятность думать, что Гоголь 1850 г. заслуживал такого же уважения, как и Гоголь 1835 г.; но положительно мы знаем только то, что во всяком случае он заслуживал глубокого скорбного сочувствия:

«Спасите меня! возьмите меня!.. Дом ли то мой синее вдали, мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! Посмотри, как измучили они его! Прижми ко груди своей бедного сиротку! Ему нет места на свете!»

То, что у алжирского бея под самым носом шишка, вы, вероятно, знаете; но, быть может, вы еще не читали окончания «Повести о капитане Копейкине»? Оно помещено в новом издании. Прочтем же эти страницы: согласитесь, не годится кончать грустью воспоминания о Гоголе:

«Можете себе представить, министр вышел из себя! В самом деле до тех пор, может быть, еще не было в летописях мира, так сказать, примера, чтобы какой-нибудь Копейкин осмелился так говорить с министром. Можете себе представить, каков должен быть рассерженный министр, так сказать, государственный человек, в некотором роде! «Грубиян! — закричал он. — Где фельдъегерь? Позвать, говорит, фельдъегеря, препроводить его на место жительства!» А фельдъегерь уже там, понимаете, за дверью и стоит: трехаршинный мужчина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков, словом — дантист эдакой... Вот его, раба божия, в тележку, да с фельдъегером. «Ну, — Копейкин думает, — по крайней мере не нужно платить прогонов, спасибо и за то». Едет он, сударь мой, на фельдъегере, да едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе: «Хорошо, — говорит, — вот ты, мол, говоришь, чтобы я сам себе поискал средств и помог бы»; — «хорошо, — говорит, — я, — говорит, — найду средств!» Ну, уж как там его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но позвольте, господа, вот тут-то и начинается, можно сказать, нить завязки романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, сударь мой, не кто другой, как наш капитан Копейкин. Набрал из разных беглых солдат, некоторым образом, банду целую. Это было, можете себе представить, тотчас после войны. Все привыкло, знаете, к распускной жизни, всякому жизнь — копейка, забубен везде такой — хоть трава не расти. Словом, сударь мой, у него, просто, армия. По дорогам никакого проезда нет, и все это собственно, так сказать, устремлено на одно только казенное. Если проезжающий по какой-нибудь своей надобности, спросят только, зачем, да и ступай своей дорогой. А как только какой-нибудь фураж казенный, провиант, или деньги, словом — все, что носит, так сказать, имя казны, — спуска никакого! Ну, можете себе представить, казенный карман опустошается ужасно. Услышит ли, что в деревне приходит срок платить казенный оброк, — он уж там. Тот же час требует к себе старосту: «Подай, брат, казенные оброки и подати!» Ну, мужик видит — такой безногий чорт, на воротнике-то у него, понимаете, жар-птица, красное сукно, пахнет, чорт возьми, оплеухой... «На, батюшка! вот тебе, отважись только!» Думает: «Уж, верно, какой-нибудь капитан-исправник, а может, еще и хуже». Только, сударь мой, деньги, понимаете, примет он, как следует, и тут же крестьянам пишет расписку, чтобы, некоторым образом, оправдать их, что деньги точно, мол, взяты и подати сполна все выплачены, и принял вот такой-то капитан Копейкин, еще даже и печать свою приложит. Словом, сударь мой, грабит

да и полно. Посылали было несколько рот команды изловить его, но Копейкин мой и в ус не дует. Голодеры, понимаете, собрались все такие... Но, наконец, может быть, испугавшись, сам видя, что дело, так сказать, заварил не на шутку и что преследования ежеминутно усиливались, а между тем деньжонок у него собрался капиталец порядочный, он, сударь мой, за границу, и за границу-то, сударь мой, понимаете, в Соединенные Штаты! и пишет оттуда, сударь мой, письмо к государю, красноречивейшее, как только можете себе вообразить. В древности Платоны и Демосфены какие-нибудь, все это, можно сказать, тряпка, дычок в сравнении с ним. «Не подумай, государь, — говорит, — чтобы я того и того... (круглота периодов запустил такую)... Необходимость, — говорит, — была причиной моего поступка. Пролывая кровь, не щадил, некоторым образом, жизни, и хлеба, как бы сказать для пропитания нет теперь у меня. Не наказуй, говорит, моих со товарищей, потому что они невинны, ибо вовлечены, так сказать, собственно мной; а окажи лучше монаршую свою милость, чтобы впредь, то есть, если там попадутся раненые, так чтобы, примером, за ними эдакое можете себе представить, смотрение...»

«Словом, красноречиво необыкновенно. Ну, государь, понимаете, был тронут. Действительно, его монаршему сердцу было прискорбно... Хотя он точно был преступник и достоин, в некотором роде, смертного наказания, но видя, так сказать, как может невинно иногда произойти подобное упущение... Да и невозможно, впрочем, чтобы в тогдашнее смутное время все было можно вдруг устроить. Один бог, можно сказать, только разве без проступков. Словом, сударь мой, государь изволил на этот раз оказать примерное великодушие, повелел остановить преследование виновных, а в то же время издал строжайшее предписание составить комитет, исключительно с тем, чтобы заняться улучшением участи всех, то есть раненых. И вот, сударь мой, это была, так сказать, причина, в силу которой положено было основание инвалидному капиталу, обеспечившему, можно сказать, теперь раненых совершенно, так что подобного попечения действительно ни в Англии, ни в разных других просвещенных государствах не имеется. Так вот кто, сударь мой, этот капитан Копейкин. Теперь, я полагаю, вот что. В Соединенных Штатах денежки он, без сомнения, прожил, да вот и воротился к нам, чтобы еще как-нибудь попробовать, — не удастся ли, так сказать, в некотором роде, новое предприятие...»

Да, как бы то ни было, а великого ума и высокой природы человек был тот, кто первый представил нас нам в настоящем нашем виде, кто первый научил нас знать наши недостатки и гнушаться ими. И что бы напоследок ни сделала из этого [великого] человека жизнь, не он был виноват в том. И если чем смутил нас он, все это миновалось, а бессмертные остаются заслугой его.

### **Мертвые души. Окончание поэмы Н. В. Гоголя «Похождения Чичикова». Ващенко-Захарченко. Киев. 1857<sup>1</sup>**

Что это за подделка, являющаяся так нагло? Что это за г. Ващенко-Захарченко, так дерзко заимствующий для своего изделия заглавие книги и имя Гоголя, чтобы доставить сбыт своему никуда негодному товару.

Г. Ващенко-Захарченко не какой-нибудь несчастный, доводимый до всяких проделок необходимостью; это не то, что А. А. Орлов или Сигов<sup>2</sup>, которым когда-то лавочники толкучего

рынка, торгующие бумажным товаром, заказывали книжечки в два-три листа, печатавшиеся под заглавием романов, имевших успех, например «Графиня Рославлева или супруга-героиня, отличившаяся в знаменитую войну 1812 г.» — эти подделки хотя сколько-нибудь извиняются крайним невежеством поддельщика.

Но книга г. Ващенко-Захарченко приводит к другим мыслям. Это довольно большой том, напечатанный на порядочной бумаге, довольно сносным шрифтом, — видно, что г. Ващенко-Захарченко имеет некоторое понятие о том, каковы бывают порядочные книги; что всего хуже, видно, что он человек, имевший случай посещать порядочное общество: он знает, по какому порядку происходят дворянские выборы, какие кушанья подаются на стол у богатых помещиков, он, кажется, имеет даже некоторое понятие об университетском образовании. Как же он, человек, имеющий, вероятно, некоторое понятие о том, что такое литература, отважился на пошлое дело?

Расчет г. Ващенко-Захарченко был не совсем ошибочен: мы слышали уже от двух-трех человек вопрос о том, какова его книга; вероятно, найдутся такие ловкие продавцы, которые будут пытаться выслать ее в провинции как сочинение Гоголя. Журналы должны предупредить этот обман, и потому мы решаемся сказать несколько слов о книге, написанной г. Ващенко-Захарченко.

Вот предисловие, по которому читатель может видеть, что г. Ващенко-Захарченко воображает владеть юмористическим слогом:

«Павел Иванович Чичиков, узнав о смерти Н. В. Гоголя и о том, что его поэма «Мертвые души» осталась неоконченною, вздохнул тяжело и, дав рукам и голове приличное обстоятельству положение, с свойственною ему одному манерою, сказал: похождения мои — произведение колоссальное касательно нашего обширного отечества, мануфактур, торговли, нравов и обычаев. Окончить его с успехом мог один только Гоголь. Родственники генерала Бетрищева просили меня письменно уговорить вас окончить «Мертвые души». Из моих рассказов (т. е. «с моих рассказов», «по моим рассказам» — г. Ващенко-Захарченко мог бы выучиться употреблению русских предлогов прежде, чем писать окончание «Мертвых душ») вам легко будет писать, а как я вдвое старше вас, то вы, верно, будете видеть, чем кончится мое земное поприще. Исполните же просьбу генерала Бетрищева и его родных. Я знаю, что они первые будут ругать вас: но я утешу вас мыслю, что окончание «Мертвых душ» будет не только приятно, но и полезно в гемороидальном отношении. А. Ващенко-Захарченко».

Господин А. Ващенко-Захарченко так восхищен своею остроумною выдумкою, что на обороте заглавного листа, под цензорским разрешением печатать книгу, приложил свою подпись, обведенную кольцом в виде печати. Он не ошибся: действительно, интересно видеть почерк, интересно было бы видеть и лицо человека, отважившегося на такой подлог.

Книга написана с остроумием и смыслом сочинений г. Анаевского<sup>3</sup>; разница только в том, что г. Анаевский не ошибается

в употреблении предлогов и буквы *ы*, а г. Ващенко-Захарченко пишет «из моих рассказов» вместо: «по моим рассказам», «бариня», «баринья»; «рижий», «порижить».

Смысла в книге нет ни малейшего: но если вы хотите знать, о чем в ней говорится без смысла, то знайте, что остроумный г. Ващенко-Захарченко рассказывает, как Чичиков, освободившись из острога, куда его посадили, неизвестно зачем и по какому делу, едет навестить родственников генерала Бетрищева, продает свои мертвые души на вывод какому-то скупцу Медяникову, получает за них 60 000 р. серебром, женится на богатой помещице и умирает, поглупев от старости. На каждой странице есть несколько фраз, безграмотным и бессмысленным образом вытасканных из «Мертвых душ» и прикрашенных остроумием самого г. Ващенко-Захарченко. Так, например, беспрестанно упоминается о фраке цвета наваринского дыма с пламенем, на каждой странице Чичиков говорит, что он ездит по России, навещая родственников генерала Бетрищева и отыскивая климат удобный в геморойдалном отношении; кроме того, автор от себя придумывает разные вариации на фразу, что Чичиков кланяется с ловкостью военного человека, — «Чичиков поклонился с ловкостью танцмейстера», «Чичиков поклонился с ловкостью гусара» и т. д. — в этих фразах и состоит остроумие г. Ващенко-Захарченко. Для образца таланта и смысла его мы берем наудачу следующий отрывок, исправляя грамматические ошибки, — которые, очевидно, принадлежат не корректору, а самому г. Ващенко-Захарченко:

«Чичиков приказал взять себя к Распузину.

«Распузин был не богат, но тароват и умел копейку на ребро ставить. Выписывал он все русские журналы и не только читал их с удовольствием, но сжужал даже ими тех, которые брали книги и газеты для тона, а не имели охоты заняться новостями политики и литературы, был погружен в животный сон и разговоры о хозяйстве и скотном дворе. (Что за бессмыслица? зачем же они брали книги, если не имели охоты читать их?) Соседи Распузина были два брата, богатые люди, вдовцы, толстяки, скупцы, без всякого образования и желаний. У них было одно в голове: как бы побольше уничтожить свою и покупную в овощной лавке провизию. Кулебяки и буженина были у них настольными яствами. Объемястые и эластические их желудки были постоянно полны в противоположность голове, вечно пустой.

«— Не люблю этих животных, ненавижу их: не умеют детей воспитать. Это скоты и невежды. — Так говорил Распузин гостю, сидевшему против него и перелистывавшему иллюстрированное издание.

«— Ну, ты не знал их жен. Умора просто, да и конец. Одна из супруг ходила вечно в перчатках, ее называли *м-ше Чесотье*, — сказал, положи книгу, приятель Распузина: — а другая была зла, как пантера, и к счастью всего деревенского народонаселения, все свое время свободное употребляла она на драку с мужем. Прислугу оставляла в покое, а все этого барина беспокоила. Вечю у него были подбиты глаза, исцарапаны рожа и руки.

«— Я не могу их двух равнодушно видеть. Не мое дело, конечно, но я не утерпел и в разговоре, подошедшем кстати, сказал, что пора уже нам стряхнуть с себя невежество, а если мы в нем загубели, окаменели, то станем воспитывать детей наших так, чтобы они сделались полезными гражданами государству и человечеству. Поняли ли они? Я думаю, что нет.

«— Они не поняли, но были там и те, которые отлично все постигают.

но притворяются и скрывают свои мысли под видом простоты. А! — обратился хозяин к вошедшему господину, довольно серьезной наружности: collega! — Тут Распузин пожал гостю руку и сказал, обратясь к прежнему: — Рекомендую тебе магистра, Петра Иваныча Кулисникова, моего товарища по естественному факультету. Оринтогнозию и ботаническую систематику мы слушали вместе. Я был своекоштным и учился плохо; а он был казенным студентом и не даром носил это имя.

«Хозяин взглянул в окно и увидел въезжавшего на паре, во двор, Чичикова. Селифан как-то неловко правил парой, и Петрушка тоже немного конфузился, сядя на козлах.

«— Едет ко мне еще кто-то, да незнакомый должен быть. Добро пожаловать! прошу покорно сюда! — кричал хозяин вошедшему Павлу Ивановичу, который скидал галоши и шинель и вместе с этим ловко раскланивался.

«— Я Павел Иванович Чичиков, — сказал новый гость, вошедши в столовую, где были все, и, пожимая хозяину руки, прибавил: — езжу я уже не один год по пространной России как для посещения родных моего друга, генерал-лейтенанта Бетрищева, так и для наблюдений над тем воздухом, который благоприятнее в гемороидальном отношении.

«— Покорнейше прошу садиться, очень рад, очень рад, — сказал хозяин и, дав знак магистру глазами, чтоб он занял нового гостя, сам вышел.

«— Должно быть вы, окончивши курс, еще несколько лет занимались естественными науками, — спросил прежний гость магистра: — и в них далеко подвинули все новые открытия?

«— Конечно, я был послан на счет университетских сумм за границу и обогатил естественные науки важными открытиями.

«Вот куда я попал, — подумал Павел Иванович: — вот здесь узнаю я многое и многому научусь полезному и даже необходимому». Чичиков с явным предпочтением смотрел на магистра, бывшего на казенный счет за границей.

«— Я, право, не припомню, — сказал магистр, обратясь к Чичикову: — мне посыпалось, что и вы наблюдали что-то, так позвольте узнать, не с собратом ли я имею честь познакомиться? Не вы ли трудились (т. е. вы не трудились ли, — г. Ващенко-Захарченко не выучился и слов расплагать сообразно грамматическому смыслу) на поприще естествоиспытания? Вы, вероятно, занимались...

«— Отчасти занимался, и всем понемногу, — сказал озадаченный Чичиков, — но, к сожалению, не знаю новейших открытий; а вот вы только что приехали из-за границы, вероятно, сообщите нам результаты вашей поездки.

«— С удовольствием. Первые три года я наблюдал жизнь и строение мхов в понтийских болотах. Труд мой был напечатан на суммы университета. Другие три года я посвятил зоологии. Сочинение мое «Зоотомия улиток» заслужило первую премию и бросило особенный взгляд на жизнь этих тварей. Теперь я тружусь над зоологией щупальцевых насекомых, думая обратить все внимание на тараканов и тому подобных домашних насекомых. Наука будет обогащена новыми по этой части открытиями. — Магистр важно понохал табаку и утерся платком.

«Толкует он о мхах, а на кой чорт они мне? Мхи, тараканы, улитки и... много он пользы принесет поездкой за границу! Бил, верно, бакуши! Лучше бы там мне этакую зоотомию пеньки представил или оринтогнозию льну. Мхи, мхи! На кой чорт они нам твои мхи, хоть они и понтийские!» — Павел Иванович, выслушав речи магистра, рассердился не на шутку, купил у хозяина гнедую упряжную лошадь, дал ей имя заседатель, в воспоминание павшего коня, попрощался (т. е. простился) с Распузиным и поехал в город, очень недовольный светом и людьми.

«Где счастье обитает? Где его можно найти? Вот, слава богу, и деньг есть, и, слава богу, я здоров, но все чего-то недостает, а недостает счастья. Буду его искать! Только бы оно не бежало по свойственной ему гадкой



привычке. И жениться пора мне не только пришла, но даже проходит. Испытаю, может быть, это и есть подлинное счастье: хорошенькая, кругленькая девочка, невинная как ангел, с приличными красотоми тела, с приятными глазками и ротиком, манящим поцелуй. Приволокнуться разве при удобном случае? Человек я солидный, довольно сносной наружности, все что нужно для супружеского спокойствия, у меня есть, отчего же не составить приличной партии? Даю себе слово, при первом случае, не откладывать, а приступить решительно к делу. Мифология говорит о Гименее как о добром божестве, а о злых богах супружества умалчивает. Может быть, тогда на счет спокойствия семейной жизни были совсем другие правила, и эти неприятели общего благополучия были содержаны взаперти, и вот причина тогдашнего кроткого удовольствия, которое заключало супружество. Злые люди, в особенности холостяки, завидуя счастью женатых друзей и приятелей, видя, как жены ухаживают за ними, хлопочут, чтобы им был подан суп с пирожками, соусы, жаркие и малина со сливками, густыми как сметана, — позавидовали. Не питая сами надежд надеть цепи супружества, они хлопотали у богов, и те послушали и выпустили: моду, фасон, волокитство и другие сим подобные бичи семейного благополучия». Павел Иванович, давно достигнув средств содержать себя и семейство прилично, ту минуту женился бы, но Неонила Ивановна сделала его поосторожнее и проходила (Неонила Ивановна — девица, на которой г. Ващенко-Захарченко собирался женить Чичикова и которая хотела его высечь перед самым отправлением под венец. — Эта сцена очень остроумна у г. Ващенко-Захарченко). «Терпел ты, дузантик, — думал Павел Иванович, — долго плалы ты по бурному океану жизни, видна гавань, как бы не разбиться о подводные камни. Осторожность была матерью всех счастливо окончивающихся предприятий, она одна полезна во многих отношениях, не исключая и геморoidalного».

Не говорим о том, есть ли хотя искра таланта у автора, — конечно, человек хотя с малейшим признаком таланта не подумал бы о пошлой проделке, к которой прибег г. Ващенко-Захарченко; не говорим о том, понимает ли он сколько-нибудь мысль творения, заглавие которого ставит на заглавном листе своей книги, или характер лица, приключения которого хочет досказывать, — разумеется, напрасно и говорить о том: если бы г. Ващенко-Захарченко сколько-нибудь понимал «Мертвые души» и Чичикова, он не решился бы выкинуть штуку, которая в своем роде не лучше проделок Чичикова и отличается от них только тем, что Чичиков свои проделки вел как человек умный, а г. Ващенко-Захарченко — вовсе не так. Нет, мы хотим спросить не о том, может ли быть какое-нибудь литературное достоинство в книге, состоящей из отрывков, подобных приведенному нами, а только о том, есть ли хотя малейший смысл в нелепых страницах, нами выписанных?

Если имя «Ващенко-Захарченко» не настоящая фамилия автора подделки, от которой мы предостерегли читателя, — если это не истинная фамилия, а псевдоним, мы очень рады тому: автор проделки или раскаивается уже, или скоро будет раскаиваться в своей наглости, — если «Ващенко-Захарченко» псевдоним, автор, быть может, успеет укрыться от посрамления, переселиться куда-нибудь в такой уголок, где не знают подлинной фамилии, скрывшейся под псевдонимом; если же «Ващенко-Захарченко» — не псевдоним, а подлинное имя человека, сделав-

шего эту недостойную дерзость, мы искренно сожалеем о его судьбе: он своею безрассудной наглостью навек испортил свою репутацию.

**Очерк русского вексельного права. Чтения Д. И. Мейера в императорском Казанском университете, изданные по запискам слушателей, под редакцию А. Вицына. Казань. 1857.**

Большинству русской публики все еще слишком мало известно имя покойного Мейера, одного из тех героев гражданской жизни, все силы которых посвящены осуществлению идей правды и добра; тех героев, о которых не вспоминает без благоговения ни один знавший их человек, на какое бы поприще деятельности ни поставила их судьба. Есть люди, которые способны совершать подвиги доблести только тогда, когда наградою за то служит слава, которых энергия не выносит безвестности. Мейер был не таков. Казанский университет, в котором находился он профессором, не мог обращать на себя внимания всей России; знаменитость, в нем приобретаемая, не простиралась далее тесного круга воспитанников его: для Мейера было все равно, и он работал с такою же энергией, как если бы занимал кафедру в Сорбонне или Берлине; с такою же энергиею работал бы он и тогда, если бы был не профессором университета, а темным учителем какого-нибудь приходского училища. Часто мы говорим: исполняйте ваши обязанности, как бы ни был тесен круг вашего действия; но только очень немногие из нас имеют силу исполнять это правило. Мейер был одним из таких исключений. Но и между этими малочисленными исключениями он составлял редкое исключение. Обыкновенно люди, неутомимо трудящиеся на скромном поприще, почерпают свою энергию отчасти в недостатке дарований для деятельности на поприще более широком; только очень немногие из них с доблестным стремлением соединяют такие таланты, что по плечу им пришлось бы исполнение только самых высоких обязанностей. Вашингтон — редкое явление не только по своей непреклонной честности и великим талантам, но и потому, что одинаково ревностно исполнял свою обязанность в самых неважных положениях, между тем как собственно был создан только для верховного управления делами целой нации. Он, великий полководец и правитель, был некогда столь же примерным офицером маленького отряда, столь же примерным управителем имения. До нас дошли с поэтическими украшениями характеры древних героев — Регулов и Цинцинатов<sup>1</sup>, которые пахали землю своего маленького участка с таким же усердием, как и трудились для спасения отечества, — мы не верим, чтобы они в действительности были таковы. Но среди нас встречаются подобные натуры. Об одном из таких людей, покойном Д. П. Журавском, недавно сообщил несколько интересных сведений г. Самарин<sup>2</sup> («Русская

беседа», 1857, № 2). Другой такой человек был Мейер. Жаль, что нация узнает этих людей обыкновенно уже после их смерти.

Высокий ум и героическое служение своим идеям соединялось в Мейере с непреклонною честностью в личных делах, — с тою честностью, которая уже одна сама по себе могла бы сделать человека достойным славы. Добрых людей и благородных людей много на свете, но мало таких, которые бы доходили до совершенства, каким украшается Эпаминонд в рассказе Плутарха<sup>3</sup>, «Эпаминонд», «не шутивший никогда, потому что шутку считал уже нарушением правды». Мы не верим рассказу Плутарха, но среди нас встречаются подобные люди. От строгой правды ничто, никогда ни на волос не могло отвратить Мейера. Не только каждый его поступок, каждое его слово находилось в таком же строгом соответствии с тем, что внушало ему зрелое убеждение, как каждое слово в приговоре справедливого судьи.

Непреклонная честность чаще всего соединяется с некоторою суровостью сердца, но каков был в этом отношении Мейер, лучше всего покажет один случай его жизни. Переведенный в Петербургский университет, Мейер вскоре по приезде был уже при дверях гроба: в нем развилась чахотка. Он не выходил из комнаты; но знакомые еще не теряли надежды. У одного из его друзей было важное дело, в решении которого участвовал бы Мейер, если б был здоров. Но он лежал в изнеможении смертельной болезни. Его приятель начал свое дело — оно пошло неудачно; оскорбленный искатель хотел прекратить свой иск и занемог от оскорбления. Мейер узнал о том. Иск его друга казался ему справедливым; выигрыш дела был слишком важен для этого человека. Мейер велел одеть себя, его вывели или вынесли и положили на сани — дело было зимою — его покрыли шубами, и он поехал, через весь Петербург, к своему другу, жившему на другом конце города. «Твое дело право; ты должен собрать последние физические силы и явиться в среду в то заседание, где решается твоя участь. Я буду там». Приятель уговаривал его не подвергать себя смерти новым путешествием по зимнему воздуху и волнением, которое было бы неизбежно для Мейера при защите его. Но Мейер был непреклонен. «Будешь ты или не будешь там в среду, а я буду. Не заставь же меня ждать там тебя понапрасну». Тогда приятель, видя, что отказаться нельзя, стал говорить, что надобно отсрочить дело до субботы. «Я очень слаб, — говорил он: — если ты не жалеешь себя, то дай мне несколько оправиться от болезни». Мейер не соглашался на отсрочку, приятель с своей стороны доказывал необходимость ее для себя. Долго убеждал его Мейер, — тот решительно не соглашался на среду и требовал срока до субботы. «Ты, наконец, заставляешь меня сказать то, чего я не хотел говорить: видишь ли, в среду я наверное могу быть в заседании, потому что буду еще жив. А за субботу не ручаюсь». В среду Мейер и его друг явились в заседание, дело

друга было выиграно благодаря энергии Мейера. В субботу Мейер уже не был в живых.

Да, такой человек действительно достоин имени человека.

Вы говорите о героях — есть они и между нами. Да, есть у нас люди, которыми может гордиться земля наша.

Но... зачем они погибают обыкновенно так рано? И по какому печальному совпадению обстоятельств слишком часто погибают они именно в то время, когда всего более становились полезными?

Из темной Казани Мейер переведен в Петербург. Вот теперь-то на всю страну нашу расширится влияние его деятельности... теперь-то быстро прославится он, доселе почти безвестный... скоро, быть может, призовут его от кафедры к участию в государственной деятельности, как призывали его предшественника по кафедре.

Мейер умирает.

С ним ли одним так было? То же было с Журавским, то же было с Жиряевым; то же было, если верны слухи о высоком назначении, готовившемся Грановскому, и с Грановским. И с многими другими так было на наших глазах.

Сколько добрых жизнь поблекла! <sup>4</sup>

И скажите, что за странность, что мы не боимся хвалить по достоинству только тех добрых, которых уже сокрыла могила? Отчего мы так мало и так робко говорим о достоинствах живых? Отчего мы так медлим указывать друг другу тех живых, которым должно принадлежать высокое место между нами по их дарованиям, соединенным с гражданской доблестью? Усопшим — честь; но от уважения к живым, достойным чести, должны мы ждать блага.

Впрочем, хорошо и то, что мы начали думать хотя о воздании чести усопшим. Почитатели Мейера заботятся о том, чтобы составлена была его биография. Другие почитатели его взялись за издание его лекций.

Книга, напечатанная теперь под редакцией г. Вицына, должна быть считаема частью последнего издания.

### **О погашении государственных долгов. Сочинение Александра Запасника. Спб. 1857**

Рассуждение г. Запасника заключает довольно подробный обзор выгод и невыгод, представляемых различными средствами для погашения государственных долгов. Изложение не отличается особенными достоинствами, но составлено вообще внимательно. Мы не знаем только, зачем автор избрал предметом своего исследования предмет, почти вовсе не имеющий связи ни с одним из тех живых вопросов, которыми так богата политическая экономия. Не говоря уже о других частях политической экономии, в том

одном отделе этой науки, который относится к государственным финансам, легко было бы ему найти десятки вопросов гораздо более привлекательных своим живым интересом; например, в деле государственных доходов представляются вопросы о прямых и косвенных налогах, о прогрессивном налоге, о тарифе, о повинностях, отправляемых натурою, и т. д., и т. д.

Следуя в своих суждениях мнениям, принимаемым учеными, которые считаются авторитетами политической экономии, г. Запасник не говорит почти ничего резкого, так что почти всегда его слова могут быть одобрены во имя авторитетов; но с тем вместе нет в его книге почти ничего свежего, и не возбуждает она никакой охоты к порицанию или похвалам. Одну только странность можно в ней заметить, но и та, вероятно, объясняется отношениями автора: довольно странно читать перечни авторитетов, составленные, например, таким образом. Сказав, что многие экономы заблуждались в суждениях своих о влиянии государственного долга на общественное благосостояние, г. Запасник продолжает: «Некоторые из государственных экономов, как Д. Юм, А. Смит, Ж. Б. Сэ, Сисмонди, Небениус, профессор Горлов, А. Бутовский и профессор Бунге, критически разобрали мнения сих писателей или способствовали развитию правильного понятия о влиянии государственных долгов». Г. Бутовский и г. Горлов могут иметь великие ученые достоинства, но до сих пор едва ли кто-нибудь произносил их имена вслед за именами Юма, Адама Смита, Сэ и Сисмонди.

Можно еще заметить, что г. Запасник, повидимому, мало обращает внимания на мнения некоторых новых писателей, во многом исправивших понятия, развитые учеными предшествовавших школ. Чтобы обратить его внимание на этот предмет, мы рассмотрим мнение, повторяемое им со слов старой школы о выгодах погашения государственных долгов продажей государственных имуществ<sup>1</sup>. Эти страницы в книге г. Запасника едва ли не единственные, имеющие живой интерес. Вот что говорит он:

«Правительство извлекает доход от государственных домен или посредством казенного и административного их управления, или отдавая их в арендное содержание. Но управляющие, администраторы и арендаторы, не имея таких внутренних побуждений, как частные владельцы имуществ, и стесняемые надзором и контролем правительства, не могут пользоваться в возможной степени благоприятными обстоятельствами. Посему количество произведений и валовой доход, получаемые от государственных домен, бывают всегда меньше, чем в том случае, если бы домены эти находились в частном владении. С другой стороны, при необходимости содержания значительного числа лиц для взаимного надзора, издержки управления государственными домами значительно больше, чем в частных имуществвах, и с обширностью имуществ этих возрастают прогрессивно.

«Итак, относительно меньший валовой доход и более значительные издержки управления, а также злоупотребления финансовых агентов оказывают влияния на относительное уменьшение чистого дохода. А так как доход, получаемый в государстве от сельской промышленности, зависит от количества сельских произведений, то существование государственных домен

причиняет относительные потери всему государству. Так, например, если чистый доход, получаемый правительством от государственных домен, состоя из  $\frac{1}{3}$  количества получаемых от них произведений, простирается до 40 млн. и если, при лучшем пользовании ими, количество получаемых от них произведений может удвоиться, то, чрез удержание государственных домен в руках правительства, народ теряет чистого дохода 40 млн., а произведениями 120 млн.; чрез отчуждение же домен народ получил бы пропорциональную пользу.

«Кроме того, так как в настоящее время чистый доход, получаемый правительством от государственных домен, относительно ниже процентов, платимых государственным заимодавцам, то продажа домен этих на погашение государственных долгов должна произвести ежегодное сбережение в финансах. Например, доход в 30 млн. руб., получаемый от государственных домен, составляет 3 процента представляемого ими капитала, а проценты, платимые государственным заимодавцам, могут быть пять. В таком случае, если капитал домен этих равняется сумме долгового капитала, то продажа государственных домен на погашение государственных долгов доставит правительству ежегодно сбережения в 20 млн. руб.

«Следовательно, продажа государственных домен на погашение государственных долгов,

1) увеличивая количество сельских произведений, увеличит народный поземельный доход, народное благосостояние и население;

2) увеличивая поземельный доход и население, увеличит произведение поземельной подати и налогов с потребления;

3) освобождая правительство от его долгов, произведет в финансах ежегодное сбережение, которое, вместе с излишком поземельной подати и налогов с потребления, произведет перевес в государственных доходах над расходами; этот перевес восстановит финансовое равновесие или даст возможность уменьшить оклад налогов.

«Несмотря на благотворное влияние отчуждения государственных домен, мера эта имеет своих противников, во главе которых стоит известный публицист Роттек. К защитникам ее принадлежат: А. Смит, Ж. Б. Сэ, профессор Горлов и, с некоторыми ограничениями, Шмальц, Лотц и Рау<sup>2</sup>.

«Роттек, порицая отчуждение государственных домен, говорит: «Благосостояние государства не может быть измеряемо ценностью имущества, в нем находящегося, или ежегодного производства, которое действительно увеличивается чрез переход государственных домен в частные руки. Необходимо отличать богатство целого народа от частного богатства граждан, взятых в отдельности. Главная цель — благосостояние сих последних, а благосостояние государства есть только средство для этой цели. Очевидно, что гражданин того государства, которое не имеет государственных домен и должно делать все расходы на счет податных сословий, менее богат, чем подданный другого государства, которое из доходов своих государственных домен удовлетворяет значительную часть общественных нужд. Вообще, чем выше налог, тем значительно уменьшается имущество частных лиц, ибо оно тем более обременяется долгом, податями... Кроме того, государственные домны в чрезвычайных случаях могут служить залогом и представлять последнюю, весьма важную опору кредита».

«В этих идеях нельзя не заметить важных заблуждений:

1) Роттек оставил без внимания то назначение, которое должны получить суммы, вырученные от продажи государственных домен. Если суммы эти будут употреблены на погашение государственных долгов, то в финансах, как мы заметили выше, произойдет благотворный переворот; если же на удовлетворение государственным потребностям, то и это освободит подданных от дополнительных налогов, а правительство от заключения новых займов. Наконец, если эти суммы будут употреблены правительством расточительным образом, тогда расточительность, а не система, будет причиною потерь.

2) Мнение Роттека, что государственные имущества должны быть удержаны правительством на том основании, что они служат опорой кредита, не имеет рационального основания. Если вырученные от продажи государственных домен суммы будут употреблены на погашение государственных долгов, то, с одной стороны, в финансах образуется излишек государственных доходов над расходами, следовательно, должно увеличиться доверие к средствам правительства, с другой же стороны — уменьшится предложение государственных облигаций, которое, при прежнем требовании, произведет возвышение их курса. А потому государственный кредит должен возвыситься, несмотря на отчуждение государственных домен. Пример Франции и Англии, имеющих незначительные государственные домены, а пользующихся цветущим кредитом, служит очевидным тому доказательством».

Положим, что Роттек совершенно ошибается; но он в настоящее время далеко не единственный защитник государственных имуществ в Германии, Франции и даже Англии. У других писателей, оставляемых без внимания г. Запасника, находятся об этом предмете мысли более широкие и, кажется нам, более основательные.

Недвижимые имущества в руках государства приносят гораздо меньший доход, нежели в руках частных людей, говорит старая школа. Но тут нужно принять в соображение, что в различных государствах дух управления различен. Возьмем в пример две соседственные державы, Англию и Францию. Во Франции, и при Бурбонах, и при Орлеанской династии, администрация была произвольна и пристрастна; она готова была и могла делать вовсе не экономические уступки людям, в которых нуждалась или которых боялась; она могла мучить придирками людей, к которым не благоволила; во всех своих делах она руководилась не столько экономическими выгодами, сколько политическими расчетами и пристрастиями; подкупы и злоупотребления всякого рода были одним из средств к сохранению власти. Очень естественно, что при таком управлении государственные имущества во Франции не приносили того дохода, как имущества частных лиц. Но английское правительство в денежных делах поступает вовсе не так: там невозможны ни подкупы, ни противузаконные льготы, ни притеснения. Потому нет никакой причины, которая бы могла помешать в Англии получению государством за землю, отдаваемую в аренду, точно такой же ренты, как рента, которую получил бы за эти земли частный собственник; в самом деле, если фермер знает, что с государством не будет иметь он никаких неприятностей, то нет ему причин предпочитать аренду частных земель аренде государственных. Стало быть, тут все дело в том, чтобы администрация добросовестно соблюдала интересы государства и не могла делать злоупотреблений. Что такая администрация возможна, доказывает пример многих держав, в том числе Англии, Соединенных Штатов и Пруссии.

«Но арендаторы государственных имуществ стесняются контролем правительств», — говорят экономисты старой школы. А частный собственник разве не имеет контроля над своими

арендаторами? Если администрация добросовестна, ее контроль гораздо более благоприятен для арендатора, потому что при обширности своих средств государство может легче, нежели частный человек, делать отсрочки, часто требуемые взаимною выгодой. Иное дело, если бы экономисты старой школы вообще доказывали невыгоду всякой аренды, как частного, так и государственного имущества, если бы они говорили, что выгоднейшее положение национального хозяйства бывает тогда, когда рента не уплачивается земледельцем постороннему лицу, а остается в его собственных руках. Но они говорят не о том. Они воображают, что администрация никогда не может быть добросовестна и экономна, а частный собственник всегда добросовестен и экономен. Это заблуждение, извиняемое только тем, что во Франции, откуда поднимались самые сильнейшие крики против государственных имуществ, администрация была действительно дурна.

Но если администрация дурна, если она не соблюдает национальных выгод при отдаче государственных земель в аренду, должно ли и в таком случае находить выгодным отчуждение государственных имуществ? Продажа совершилась бы в том же самом духе, как делается отдача в аренду: если, сохраняя свои имущества, государство теряет, положим, половину ренты от злоупотреблений, то при продаже оно точно так же потеряло бы половину капитала от тех же самых злоупотреблений. Половину? Нет, даже больше. Многие, которые не хотели мараить рук из-за мелких выгод, представляемых подкупами при аренде, соблазнились бы огромными суммами, представляемыми подкупами при продаже. Этот расчет очень прост. Читатель помнит процесс Кюбьера во Франции<sup>3</sup>. Тест, тогдашний министр, вероятно, не польстился бы 5 000 франков, которые предложили бы ему за временный контракт арендаторы государственных рудников; но дело шло об уступке рудников в вечное владение, и Кюбьер предложил 100 000 — против такой суммы Тест не устоял.

Мы говорим вообще о продаже государственных имуществ; но если взять частный случай, о котором говорит г. Запасник, продажу их для погашения долга, то потеря государства будет еще значительнее. Для погашения долга вдруг должны быть назначены в продажу огромные массы имуществ; от громадности предложения, естественно, должна упасть ценность таких имуществ.

Но оставим в стороне все это. Пусть имущества, не приносящие полного дохода от злоупотреблений администрации, будут проданы по какому-то чуду без всяких злоупотреблений и без убытка цены от излишка в предложении; выгодно ли было бы продать их даже и в таком случае? «Они приносят три процента; за свой долг государство платит пять процентов; итак, обратив капитал, вырученный продажей имущества, на уплату долга, государство выигрывает два процента»<sup>4</sup>, — так говорит старая



школа; но она забывает расходы по продаже и расходы по выкупу долга: уж эти одни расходы значительно уменьшают предполагаемую выгоду. Впрочем, гораздо важнее другие соображения, также забываемые старою школою. Капитал от продажи имущества предполагается обратить на уплату долга; действительно ли это будет так? Причина продажи — дурное ведение государственного хозяйства; при таком хозяйстве деньги никогда не употребляются на тот предмет, для которого назначаются; большая часть их пойдет на непредвиденные расходы и тому подобные вещи; капитал будет растрочен, а государственные долги останутся неуплаченными. Разве мало тому бывало примеров? При введении реформации в Германии и Англии были конфискованы и потом отчуждены правительствами громадные массы имущества; много ли выгоды получили от того государства? Часть земель разошлась по рукам любимцев; деньги, вырученные за другую часть, пошли на праздники, парады, дипломатические интриги и войны, которых, может быть, и не начали бы, если б не получили вдруг денег, а если б и начали, то прекратили бы гораздо скорее; на полезное употребление была обращена только ничтожная часть приобретенных продажей сумм.

Экономисты старой школы слишком щедро раздают имя утопистов ученым, с ними несогласным; но они сами страшные утописты. Когда они говорят против порядка дел, им неприятного, они берут действительность со всеми ее злоупотреблениями; а когда описывают выгоды дела, ими требуемого, вечно предполагают, что оно будет исполнено идеальным образом, без всяких упущений и злоупотреблений.

Они, например, воображают, что если в каком-нибудь государстве подати очень высоки и часть этих податей идет на проценты государственного долга, то после выкупа этого долга подати будут понижены, потому что расходы сократятся. А действительно ли сократятся расходы? Почему знать, что не окажется надобность оказавшийся излишек доходов обратить на армию, на Двор, на какую-нибудь войну? Хозяйства бывают двоякого рода. В одних государствах стараются брать как можно меньше, в других как можно больше; в одних расходы не увеличиваются, потому что не нужно их увеличивать, а в других только потому, что нет физической возможности увеличить их. В первых государствах дела идут хорошо, и нет надобности прибегать к продаже имущества для уплаты долгов; во вторых долги никогда не будут уменьшаться: выкупятся одни облигации, немедленно выпускаются другие. Мы сошлемся на Францию. При Бурбонах и при Орлеанской династии правительству вечно хотелось бы иметь в своих руках вдвое и втрое против того, что оно имело; если бы какой-нибудь волшебник каждый год давал французскому казначейству по миллиарду франков, дефициты ни разу не уменьшались бы ни на один сантим, и если бы по избытку усердия министр финан-

сов погашал бы старые долги, например, в 1835 году, то в 1836 его товарищи заставили бы его сделать вдвое больше новых долгов.

Экономисты старой школы слишком идеалически воображают вещи для них приятные, например неистощимость кредита. Они воображают, что кредит не может служить источником безрассудств. А когда хладнокровно посмотришь на житейские дела, то видишь часто, что государство избавляется от великих бедствий только безденежьем правительства; мы опять сошлемся на пример Франции<sup>5</sup>. Если бы французское правительство не начало чувствовать крайний недостаток в деньгах, если бы оно не знало, что предшествовавшими займами уже истощен его кредит, оно не заключило бы мира с Россиею в начале 1856 года<sup>6</sup>, а готово было бы тянуть эту войну еще несколько лет — война льстила его желанию прославиться. А, между тем, для государственного блага Франции нисколько не была нужна ни крымская экспедиция, ни осада Севастополя. Итак, предположим, что около 1852 года Франция погасила весь государственный долг, сделав для того громадные пожертвования; государственный кредит находился в баснословно-цветущем положении; она могла бы сделать займов, пожалуй, хоть на десять, на пятнадцать миллиардов. В 1854 году начинается война; теперь, при цветущем положении кредита, французское правительство может тянуть ее на десять лет. Что же оказывается в результате? Благодаря цветущему состоянию французского кредита, война тянется не два года, а десять лет, она стоит Франции не пять, а двадцать пять миллиардов франков, французам гибнет в ней не 150 000, а 750 000 человек и т. д., и при конце войны кредит Франции все-таки истощен, и долгов наделано вдвое больше, нежели сколько их было до выкупа перед войною.

Это мы все говорим к тому, что экономисты старой школы, советуя продажу государственных имуществ, желают вывести из финансовых затруднений дурную администрацию; а такой администрации не выведут из финансовых затруднений никакие продажи, никакое увеличение государственных доходов. Сколько ни дайте ей, все-таки будет мало. Если же администрация хороша, она найдет средства и без продажи государственных имуществ уничтожить дефицит и уменьшить тяжесть государственного долга.

Но оставим эти соображения, выходящие за пределы бухгалтерства; взглянем на дело хотя исключительно с бухгалтерской точки, на которой стоят экономисты старой школы. Положим, что действительно какое-нибудь государство, уплатив старый долг продажей государственных имуществ, не войдет в новые долги, положим, что продажа совершилась без всяких потерь на капитале, положим в удовольствие старой школе, что уплачены долги пятипроцентные, а проданные имущества приносили

только 3%; действительно ли государство оттого выиграло? Для ясности мы берем цифры, представляемые английскою финансовою историею, и ограничим свои расчеты хотя пятидесятилетним периодом. Положим, что в 1820 году Англия имела на 100 миллионов фунтов государственных земель, от которых государство получало 3 миллиона дохода; земли эти проданы, выкуплено 100 миллионов пятипроцентного долга — выигрыш в 2 миллиона фунтов очевиден. Но посмотрим, что далее. В 1822 году открывается возможность понизить проценты долга с 5 до 4; в 1830 году открывается возможность понизить проценты с 4 на 3½. Между тем в 1830 году ценность земли средним числом увеличилась на 25% сравнительно с 1820 годом; в 1840 году еще на 25%, тоже в 1850 году, и, наконец, в 1860 году ценность земли вдвое более, нежели в 1820 году<sup>7</sup>. На этом мы остановимся, дальнейшего увеличения ценности не будем предполагать, а ведь оно будет. Сделаем же теперь расчет за 50 лет.

1) Сумма выплачиваемых процентов со 100 миллионов долга:

За 2 года (1821—1822) по 5 <sup>0</sup> / <sub>100</sub> . . . . .	10 000 000
За 8 лет (1823—1830) по 4 <sup>0</sup> / <sub>100</sub> . . . . .	32 000 000
За 40 лет (1831—1870) по 3½ <sup>0</sup> / <sub>100</sub> . . . . .	140 000 000
Итого . . . . .	182 000 000

2) Сумма доходов (по 3%) с земель, ценность которых в 1820 году равнялась 100 миллионам:

1820—1830; первоначальная цена земли; со 100 миллионов по 3 миллиона в год; всего . . . . .	30 000 000
1830—1840; ценность земель увеличилась до 125 миллионов, ежегодный 3-процентный доход до 3 750 000; всего . . . . .	37 500 000
1840—1850; ценность земель 150 миллионов, доход 4 500 000 . . . . .	45 000 000
1850—1860; ценность 175 миллионов, доход 5 250 000; всего . . . . .	52 500 000
1860—1870; ценность 200, доход 6 миллионов; всего . . . . .	60 000 000
Итого . . . . .	225 000 000

Из этого баланса видим, что если бы в 1820 году Англия продала на 100 миллионов государственных земель, приносящих 3%, для выкупа 5%-ного налога, то через эту операцию, которая на первые годы казалась выгодною, в течение 50-летнего периода, государство потеряло бы 43 миллиона. Оно освободилось бы от уплаты 182 миллионов, но лишилось бы доходов на 225 миллионов. Эта потеря за 50 лет; в каждый следующий год прибавлялось бы еще 2½ миллиона<sup>8</sup>, если бы даже ценность земли перестала возвышаться после 1860 года. «Но государство выиграло бы от увеличения производства в частных руках и соединенного с ним увеличения податей и пошлин», — говорят экономисты старой школы. Посмотрим, как велик этот выигрыш. Положим, что

пошлины и налоги берут 20% дохода; эта цифра уже чрезвычайно высока. Положим, что по волшебному слову «частный собственник» доходы увеличиваются на 50% — предположение это делается единственно в угодность утопистам старой школы: на самом деле, если государственная администрация хороша, то арендатор не может заплатить частному собственнику ни одну копейкою больше, нежели платит государству: ведь от перемены имени не увеличится плодородие земли и не улучшится климат. 50% на 225 миллионов составят 112½ миллионов, — вот излишек производства, образованный переходом земли к частным собственникам; 20% с этого излишка составит 25 миллионов; за вычетом их из 43 миллионов, полученных нами выше, остается все-таки 18 миллионов чистого убытка государству от произведенной им продажи. А собственно говоря, ровно никакого вычета и не должно делать, потому что при хорошей администрации государственные земли непременно должны отдаваться в аренду по той же самой цене, как и частные земли.

Если мы к этим чисто казначейским расчетам прибавим соображения о том, какую выгоду для народного благосостояния представляет то обстоятельство, что государство при хорошей администрации управляет своими имуществами непременно в видах общественного благосостояния, что невозможно для частного собственника, обязанного заботиться прежде всего о собственных выгодах, которые далеко не всегда одинаковы с общественными; если мы сообразим, что государственные земли всегда готовы бывают для принятия переселений, которых может и не принимать на свои земли частный собственник; если мы сообразим все те случаи, в которых государству полезно бывает иметь в своем непосредственном распоряжении землю, то, конечно, в нас уничтожится всякое желание видеть отчуждение государственных земель в какой бы то ни было державе для уплаты долгов.

Конечно, все это относится к обыкновенному течению дел. Могут встречаться особенные случаи, когда государству действительно необходимо бывает продавать свои земли. Но к этим случаям никак не может принадлежать погашение прежних долгов. Быть может, Англия поступила бы не безрассудно, если бы вздумала продать часть тех земель, которые будут конфискованы у ост-индских мятежников<sup>9</sup>, чтобы вырученную сумму употребить для облегчения участи низших каст, воины которых остаются верными защитниками английского правительства. Но это дело совершенно иного рода, нежели погашение долгов, сделанных во время войн с Францией. Против этих долгов справедливо только одно средство: они порождены [расходами на войны, которых можно было избежать]; эта ошибка прежних времен должна загладиться сохранением всевозможной экономии в настоящее время.